

A dramatic illustration of a war-torn city street. In the foreground, a soldier with a bloody forehead aims a submachine gun. Behind him, another soldier in a tactical vest holds a flag and a handgun. In the background, a third soldier runs with an assault rifle. The scene is filled with dust and smoke, suggesting a recent battle.

# Александр ПРОХАНОВ

ПРЕТЕНДЕНТ НА БУКЕРОВСКУЮ ПРЕМИЮ

# УБИЙСТВО ГОРОДОВ

Александр Проханов

**Убийство городов**

«ЭКСМО»

2015

## **Проханов А. А.**

Убийство городов / А. А. Проханов — «Эксмо», 2015

События на Юго-Востоке Украины приобретают черты гражданской войны. Киев, заручившись поддержкой Америки, обстреливает города тяжелой артиллерией. Множатся жертвы среди мирного населения. Растет ожесточение схватки. Куда ведет нас война на Украине? Как мы в России можем предотвратить жестокие бомбардировки, гибель детей и женщин? Главный герой романа россиянин Николай Рябинин пытается найти ответы на эти вопросы. Он берет отпуск и отправляется на Донбасс воевать за ополченцев. В первом же бою все однополчане Рябинина погибают. Рябинин попадает в плен, где его и других захваченных «колорадов» приговаривают к расстрелу. На краю котлована украинский офицер зачитывает смертный приговор: «Вы прибыли в Украину по путевке Кремля...» Звучит команда «Пли!».

© Проханов А. А., 2015

© Эксмо, 2015

# Содержание

Часть первая	6
Глава 1	6
Глава 2	9
Глава 3	15
Глава 4	21
Глава 5	28
Глава 6	34
Конец ознакомительного фрагмента.	36

# **Александр Андреевич Проханов**

## **Убийство городов**

© Проханов А.А., 2015

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2015

## Часть первая

### Глава 1

Он всплывал из сна, как подводная лодка из темных глубин. В этой зыбкой тьме клубились видения, проплывали земли, струились лица, размытые, как в тусклых зеркалах. И каждое рождало страх или нежность, или раскаяние, или влечение, которые тут же забывались, уносились потоками сна. Вся ночь превращалась в череду непрерывных свиданий. Встречи с любимыми прерывались появлением незнакомцев, иногда столь живых и уродливых, что он просыпался со стоном.

На этот раз среди бесчисленных встреч состоялось свидание с женой, из той восхитительной поры, когда она в своем свежем ликующем материнстве предстала в белизне, то ли ночной рубахи, то ли прозрачной занавески, за которой, невидимый, цвел куст жасмина и играли дети.

Дмитрий Федорович Кольчугин поднимал с кровати свое старое тело, приводя в движение каждую отдельную мышцу. Усилием воли заставлял двигаться ноги, спину, затекшие плечи, вспоминая, как в молодости одним счастливым толчком выбрасывал себя из кровати, перемещаясь из сна в сверкающий мир.

Он спустил босые ноги на пол, и перед ним возник кабинет, в котором он спал на диване. Два окна, полные зелени солнечного утреннего сада. Книжная полка, сплошь уставленная написанными им книгами. В скромных переплетах – из советских, пуританских времен, когда избегали яркого цвета. И нарядные, помпезные, последних лет, с красочными корешками, которые должны были привлекать покупателей, как цветы привлекают пчел. Вся его огромная жизнь уместилась в книгах с описанием войн, переворотов и революций, среди которых он жадно и страстно творил летопись отпущенных ему «временных лет». Верил, что Господь удерживает его на земле ради этой, вмененной ему работы.

Стол с компьютером был аскетически строг, без бумаг, безделушек. Компьютер давно не включался. В нем хранился случайно залетевший отрывок текста. Так в кусок янтаря залетает случайный пузырек воздуха, чтобы остаться там навсегда.

Во всю стену, в пятнах солнца, сиял иконостас из икон, которые он собирал в молодости, путешествуя по северным деревням в поисках утраченного русского рая. Среди алых и голубых плащей, смуглых лиц и золотых нимбов отыскал образ Дмитрия Салунского, своего небесного покровителя. Помолился ему бессловесной молитвой, отворил сердце и впустил в него лучезарного воина.

Отдельно стояла полка, уставленная трофеями его былых походов. Афганские вазы из лазурита и яшмы. Африканские маски из черного дерева, инкрустированные перламутром. Эфиопский крест, напоминавший медные кружева. Чучело никарагуанского крокодила с зубастой пастью. Все это было покрыто пылью, ибо в доме не было женской руки, оберегающей сокровища прошлого.

Он принял душ, промывая складки тяжелого полного тела, и долго растирался мохнатым полотенцем, желая вернуть бесчувственной коже розовый жар. Стоял перед зеркалом, недовольно разглядывая свои пепельные волосы, сумрачно сжатые брови, узкие, с тусклым светом глаза. В горьких морщинах у носа и рта, как в желобах, текли реки разочарования и иронии. И сквозь это выцветшее лицо вдруг брызнул его молодой лик, счастливый и пылкий. Так иногда в лучах вечернего солнца загорается на церковной стене чудом уцелевшая фреска.

Он вскипятил чайник и пил кофе, глядя на большую фотографию жены. Жена внимательно, нежно, с легким состраданием наблюдала его одинокий завтрак. Снимок был сделан перед самой ее болезнью, и в ней еще сохранялась благородная женственность, поздняя кра-

сота и не сломленное болезнью достоинство. На ее открытой белой шее красовалось фамильное гранатовое кольцо, словно брызги темно-алого сока.

Он не мог слишком долго смотреть на портрет, ибо сердце начинало стонать и приближались рыдания.

Сегодня был государственный праздник, День России, и он был зван в Кремль на торжественный прием. Предстояло выбрать чистую рубашу из стопки, что приготовила дочь. Извлечь из шкафа парадный костюм. Начистить до блеска туфли. Все то, в чем прежде помогала жена и что теперь давалось ему с трудом.

Над столом висели большие часы с бегущей секундной стрелкой. Приближалось время утренних новостей, и он пошел включать телевизор.

Экран глянцеви́тый, черный, как ночное озеро. Пульт с маленькой красной кнопкой. Кольчугин боялся ее нажать. Боялся зажечь экран, испытывая страдание, какое испытывает пациент при виде скальпеля. Будущий порез начинал болеть, и плоть трепетала, предчувствуя прикосновение стали. Так трепетала его душа, ожидая разноцветное изображение.

Это была пытка, которой он себя подвергал каждое утро, когда смотрел новости с Юго-Востока Украины. Нажал кнопку, словно лег на операцию без наркоза.

Журналист с утомленным лицом обреченно сжимал микрофон с надписью «Россия». Показывал последствия артонала на жилой квартал Донецка. Проломы в стене, искореженная арматура, воронка в асфальте.

Кольчугин, сидя перед телевизором, вдруг ощутил знакомое жжение в ноздрах от едкой гари, услышал хруст стеклянных осколков, на которые наступала нога. Осторожно обходил воронку и липкую, начинавшую густеть лужу крови. Украинский вертолет, как каракатица, выпускал дымные трассы, и Кольчугин слышал железный скрежет снарядов, скребущих землю, видел полыхнувший взрыв, сметавший дома. Ополченец в казачьей папахе бил в амбразуру по невидимой цели, и Кольчугин видел фонтанчики гильз, которые скакали по паркету его комнаты. Латунная гильза ударила его в щеку и обожгла.

Шли кадры, на которых двигался железнодорожный состав, уставленный украинскими танками. Их туманная вереница вызывала ломоту в зубах, стальная мощь танков была нацелена на папаху ополченца, на его постукивающий автомат, на его обреченную жизнь.

Показывали беженцев, прибывших в Россию из разбитых городов. Молодых женщин с голыми плечами в летних сарафанах, солнечных младенцев с белокурыми головками. И снова танки, пикирующие штурмовики.

Кольчугин не мог слышать очередное заявление министра иностранных дел, который требовал от Киева прекратить кровопролитие, осуждал бесчеловечный режим. Негодование Кольчугина вызывал не столько бесчеловечный украинский режим, сколько пресные, изо дня в день повторяемые увещевания министра, под укоризны которого убивали людей Донбасса. Много дней подряд, танками, гаубицами, установками залпового огня, убивая беззащитные города.

Кольчугин выключил телевизор. Лежал обморочно в кресле, слыша, как кувыркается сердце, готовое сорваться в жестокую аритмию.

Он не мог разгадать смысл операции, которую осуществляли центральные телеканалы, изо дня в день показывая гражданам убийства русских, сопровождая эти убийства неискренними вялыми заявлениями МИДа о защите русских в любой части света и любыми средствами. Бойня русских проходила по соседству с Россией, в Донбассе. Детские гробы и надгробные рыдания рвали сердце. Но не было ввода российских войск, громивших убийц. Не было точечных ракетных ударов, уничтожающих украинские гаубицы и «грады». Не было «бесполетной зоны» над Донецком и Луганском, когда каждый бомбящий города штурмовик, каждый атакующий вертолет сбивались огнем ПВО.

Все это копило в народе ненависть и разочарование. Ненависть к предателям «русского мира». Разочарование и унылую злобу, в которых меркло лучезарное солнце Крыма, воссиявшее в каждой русской душе и теперь потускневшее.

Кольчугин смотрел на черный гляцевитый экран, в котором погасли ядовитые пятна. И его душа стремилась вслед за исчезнувшим изображением. Хотела слиться с электронной волной, бестелесно промчаться в эфире и вновь облечься в плоть. Очутиться рядом с ополченцем в казачьей папахе, увидеть его потное усатое лицо, латунные россыпи гильз на асфальте.

Там, в этих убиваемых городах, было его место. Там продолжалась череда войн и революций, свидетелем которых он был всю свою долгую жизнь. Писал их жестокую хронику. Составлял летописный свод. Там, в Донбассе, надлежало ему продолжить труд летописца. Труд портретиста, который пишет предсмертные портреты убиваемых городов.

Его порыв был страстный, стремительный. И был остановлен ударом в грудь, где больно набухло сердце и бессильно опало. Душа ударилась о черный экран телевизора, как ударяется о стекло залетевшая в комнату птица.

Он был немощен, стар. Его плоть была изъедена хворьями. Он больше не мог перебегать под обстрелом. Не мог протискиваться в узкие люки бронемашин. Не мог без таблеток спать. Не мог без них одолевать головокружение и боли в груди. Его время прошло. Прежде он был писателем «поля боя», был писатель – полевой командир, но теперь ему не было места на поле боя. В городах, которые погибали, не было художника, и их смерть в потоках времен будет забыта.

Он смотрел на портрет жены. Как бы она сейчас рыдала и убивалась, глядя на жестокий экран. Как бы молилась в церкви. Как бы ходила по дворам, собирая вещи для беженцев.

«Милая, милая!» – шептал он, глядя на фотографию.

Теперь, когда его жизнь завершалась, ему следует укротить клокочущую страсть, остановить погоню за ускользающим временем. Ибо мир изнурительно повторяет себя в непрерывных войнах, восстаниях, крушениях царств. Среди этих взрывов и скрежетов, которыми наполнилось его творчество, не слышна была тихая молитва, робкое упование, кроткое смирение. Но теперь, на исходе жизни, на эти тонкие звуки и потаенные шепоты должна была обратиться душа. Перед тем как унесется с земли.

Он старался вспомнить недавний сон. Чистая летняя комната. Белая занавеска волнуется от сладкого ветра. За окном благоухающий куст жасмина. И жена, молодая, прекрасная, обнимает детей.

Кольчугин поднялся. Приблизился к портрету жены. Поцеловал ей глаза.

## Глава 2

Его приглашали в Кремль на государственные празднества, инаугурации, торжественные выступления Президента. И это после долгой опалы, когда он, «певец красной страны», отверг власть, погубившую государство. Он стал непримиримым оппозиционером. Оставил писание романов и в хлестких, беспощадных статьях клеймил отступников, совершивших четвертование Родины. Его исключили из числа именитых персон. Подвергли гонениям. Предали анафеме его книги. Назвали личностью, которой не подают руки. Его утонченно и искусно убивали, объявив бездарью, окружив его имя глухим молчанием.

Однако в Кремле менялись хозяева. В их лицах, изуродованных взрывом, начинали проступать черты исконной власти, призванной управлять континентом Россией. Новый Президент, балансируя среди враждующих групп, на руинах разгромленной страны стал строить новое государство.

Кольчугин приветствовал это строительство. Содействовал ему своими статьями. Пророчил соединение разъятых пространств, союз разрозненных народов. Постепенно вернул себе репутацию «певца государства». Недавние кумиры, желавшие ему смерти, были отодвинуты, и на освободившиеся места возвращали опальных.

В роковом 93-м, когда стреляли танки в Москве и горел Дом Советов, Кольчугин бежал в леса, спасаясь от ареста. Он был баррикадник, соратник восставших вождей. И пока их отлавливали и свозили в тюрьму, Кольчугин жил у друга среди осенних лесов. Они горевали, пили злую водку, пели русские горючие песни, ожидая, когда в избу постучат каратели.

Казалось, это было недавно. Теперь же Кольчугин ехал в Кремль как гость Президента.

Шофер предьявлял пропуск постовым, те отдавали честь. Кольчугин надеялся среди звона бокалов, картинных, напоказ, объятий и поцелуев услышать речь Президента. Найти в этой речи ответ – что станет с восставшими городами Донбасса? Забьют ли их до смерти на глазах онемевшей России? Зачем телевидение пыгает народ, показывая, как калечат и пытаются русских, ставят на колени среди площадей? И когда настанет конец этой пытке, русские танки ворвутся на Крещатик и обугленные города Донбасса избегнут смерти?

За этим ехал в Кремль Кольчугин, испытывая ноющую боль, словно в груди двигался крохотный осколок, медленно подбираясь к сердцу.

Он приехал в Кремль раньше, до сбора гостей. Тяжело поднимался вверх от Кутафьей башни, неуверенно, слепо ставил ноги на брусчатку, черную, как чугунные отливки. Среди дворцов и соборов были поставлены белые островерхие шатры. Дымились жаровни, сверкало стекло, расхаживали служители в белых сюртуках и перчатках. Но доступ к шатрам был еще перекрыт, и Кольчугин, минуя табор, вышел на Ивановскую площадь. Чешуйчатую, как солнечная застывшая рябь, ее обступали белоснежные соборы, похожие на ледяные громады. Казалось, купола в серебре и золоте чуть колышутся, как воздушные шары, готовые взмыть в синеву.

Всякий раз, с малолетства, глядя на Кремль, Кольчугин чувствовал, как у него замирает дыхание. Не от восторга, не от благоговения. От ощущения чего-то незыблемого, исконного, как аксиома о параллельных прямых, которые не пересекаются в бесконечности. Кремль не подлежал переменам, находился в глубине всех явлений, обладал неподвижностью ядра, вокруг которого на разных скоростях и расстояниях вращается множество событий. Люди, исторические времена, цари и вожди. И он сам влетел в сверкание куполов, чтобы промелькнуть в их волшебном сиянии и исчезнуть.

Он стоял на брусчатке перед белым Архангельским собором, наслаждаясь одиночеством. Старался точнее выразить свои ощущения. Возник образ молока в кувшине, сберегающем свою прохладу и белизну среди раскаленного пекла.

Увидел, как через площадь приближается человек. Маленький, в черном костюме, прихрамывающая, скосив к плечу продолговатую голову. Макушку прикрывала темная кипа. Кольчугин узнал раввина Карулевича, с которым встречался иногда на приемах и в общественных собраниях.

Карулевич приблизился, затоптался на месте большими башмаками, поднимая глаза к золотым куполам.

– Что я вам скажу. Здесь, в Кремле я чувствую себя русским. Вы мне ответьте, разве я, еврей, не могу чувствовать себя русским?

– Наверное, в Кремле каждый чувствует себя русским. – Кольчугин глядел на коричневое, болезненное лицо раввина, на котором бегали измученные глаза.

– Нет, вы мне скажите, почему я плачу, когда вижу по телевизору, как в Донбассе убивают русских? Разве мало было еврейского холокоста, чтобы теперь устраивать холокост русских?

– Украинские олигархи, насколько мне известно, в своем большинстве евреи. Они объединились с бандеровцами и их руками убивают русских Донбасса.

– Это не евреи, не думайте так говорить. Они не помнят, что в Киеве есть Бабий яр. Они делают все, чтобы снова в мире убивали евреев, и в Киеве, и в Берлине, и в Каире. Русские те, кто погасил печи Освенцима, и евреи благодарны русским. А те, кто убивает русских в Донбассе, не евреи и никогда ими не были. Может быть, они ходят в синагогу, но они не евреи.

Карулевич озирался на соборы, на их белоснежную красоту, словно хотел убедить их в искренности своего страдания. Золотые купола сияли над маленькой бархатной кипой и, казалось, внимали ему.

– Нет, вы мне скажите другое. Разве наш Президент не русский? Разве он не плачет, когда видит, как в Донбассе убивают людей? Разве у него железное сердце? Почему я, простой раввин, хочу увидеть русских солдат на улицах Донецка? Почему он не хочет? Вы мне можете это сказать?

– Не могу, – ответил Кольчугин.

– И я не могу.

Карулевич горестно вздохнул, тоскливо посмотрел на золотые купола и засеменял, зашаркал по брусчатке к белым шатрам, где уже начинали пускать гостей. Словно там ожидал услышать слова утешения.

На входе в табор стояла рамка металлоискателя. Гости послушно выкладывали на подносики мобильные телефоны, очки, связки ключей. Кругом белели шатры, словно в центре Кремля кочевое племя разбило стойбище. Дымились жаровни, румянились шашлыки. Служители в белых колпаках накладывали на тарелки рыбу, парное мясо, бараньи ребра. Под острый нож попадали фиолетовые щупальца осьминога, розовая мякоть лобстера. Официанты разносили шампанское. Другие предлагали водку, коньяк, вино. Гости устремлялись к жаровням, жадно и весело расхватывали снедь, глотали напитки. Усаживались за столики под матерчатыми зонтиками.

Дым, запах мяса, гомон, смех. Возбужденные лица депутатов, сенаторов, объятия, поцелуи.

Отдельно от столиков под белым балдахином был накрыт стол для Президента, Премьер-министра, Спикеров Совета Федерации и Государственной думы, Патриарха всея Руси. Пространство перед столом пустовало. Его оберегали молодые люди в туго застегнутых пиджаках с вьющимися проводками на бритых затылках.

Кольчугин, чувствуя слабость в ногах, уселся за столик, поставив перед собой бокал шампанского. Наблюдал вязкое кружение жующих, гомонящих гостей. Они переносили от столика к столику слухи, сплетни, веселые анекдоты и злые шутки, среди которых каждый хотел уловить важную для себя новость, полезный намек, опасное для карьеры веяние. Все исподволь взгляды на балдахин, ожидая появления Президента, его торжественной речи.

Кольчугин, как и все, ждал этой речи. Полагал услышать в ней объяснение чудовищному промедлению России, допускающей убийство русских в Донбассе.

Прошел, окруженный свитой соратников, лидер коммунистов. Вальяжный, загорелый, источал благодущие, одаривал всех открытой улыбкой, готовый к дружескому общению. Его благодущный взгляд метнулся в сторону балдахина, обрел на мгновение тревожную зоркость, вопрошающее нетерпение.

Прошел лидер либеральных демократов. Крутил во все стороны подвижной головой, играл язвительной улыбкой, мерцал цепкими ястребиными глазами. Глаза скользнули вдоль балдахина, пугливо остекленев на секунду.

Кольчугин смотрел, как проходят мимо губернаторы, главы корпораций, олимпийские чемпионы, генералы в мундирах. Появлялись величественные митрополиты с драгоценными панагиями. Муфтии в рыхлых белых чалмах. Хасиды в черных шляпах с горделивыми бородами. Известный детский врач приобнял своего друга, знаменитого кардиолога. Ученые и директора заводов, музыканты и народные артисты.

Это был цвет государства, его оплот и опора, объединенные вокруг Президента. Того, чью речь они торопились услышать. Того, кому искренно и верно служили. До той поры, пока вдруг не ослабеет их кумир, не сместится центр власти. И рядом с первым не возникнет другой, набирающий силу кумир. И тогда все они начнут метаться, перебегать от одного центра к другому, оставляя недавнего повелителя в одиночестве. Обрекут его на гибель, торопясь прильнуть к новому благодетелю.

За столик Кольчугина один за другим подсади художник Узоров, политолог Лар, журналист Флагов, историк Муравин, все именитые, отмеченные заслугами, умеренные патриоты. Забыли то время, когда шарахались от Кольчугина, чураясь его оппозиционных воззрений. Они принесли с собой румяное мясо, зелень, рюмки с вином и водкой.

– Потесним Дмитрия Федоровича в его гордом одиночестве. – Политолог Лар угощал Кольчугина шашлыком, простодушный, курносый, похожий на дворового мопса. И только глазки, умные и пронзительные, буравили Кольчугина.

– Прекрасная ваша статья о русском языке, Дмитрий Федорович. – Художник Узоров, в рубашке с бантом, длинноволосый и смуглолицый, поднял в честь Кольчугина бокал с вином. – Вы сказали, что русский язык – это тот, на котором каждый прочтет на камне свое имя, дату своего рождения и смерти. Прямо мурашки побежали!

– Рано еще писать имя на камне, Дмитрий Федорович, – бодро заметил журналист Флагов. – Хочу прочесть ваше имя на обложке новой книги. Над чем сейчас работаете?

– Романы Дмитрия Федоровича – это хроника новейшей истории. Должно быть, уже начали роман о событиях в Донбассе? – Историк Муравин, с полным, сдобным лицом, позволил себе легкую иронию. Хотя был автором хвалебной рецензии, в которой разбирал роман Кольчугина о чеченской войне.

– Черт знает, что творится в Донбассе. – Художник Узоров обежал всех взглядом, желая убедиться, что находится в кругу друзей, разделяющих его недоумение. – Русского Ивана бьют, лупят по башке. Бомбят почему зря эти укры чертовы – откуда только взялись? А мы сопли вытираем. Пальчиком грозим. Плохие мальчики, перестаньте! Был бы Сталин, в два часа танки до Киева! А то и до Львова! А то и до Варшавы! Сколько можно русским плевки терпеть? Вести войска!

– Рассуждаете пылко, эмоционально. Как и следует живописцу. – Политолог Лар снисходительно, хотя и с симпатией, возразил Узорову. – А ядерную войну не хотите в ответ на танки? С Америкой воевать готовы, которая в тысячу раз нас сильнее? От ваших картин одни угольки останутся. – Лар направил на Узорова сведенные к переносице глаза, нацелил заостренный нос. Был похож на дятла, который выбирает на дереве место, куда вонзит серию долбящих ударов.

– Не надо пугать атомной бомбой. Ядерную кнопку никто не нажмет, ни они, ни мы, – раздраженно возразил историк Муравин, колыхнув двойным подбородком. – Хуже другое. Каждый убитый в Донбассе русский гасит солнце Крыма, которое взшло над Россией. Гасит солнце Президента. Как бы ни пошатнулась его популярность. Общественное мнение, знаете ли, ветрено, вероломно. Сегодня его называют Великим Русским, повенчавшим Крым с Россией. А завтра начнут шептать, что он предал русских. – Последние слова Муравин произнес шепотом, вжав голову в плечи, опасливо оглядываясь на проходящих гостей. – Но ведь мы-то с вами так не считаем. Мы-то понимаем мотивы Президента. – Тем же пугливым взглядом Муравин обвел собеседников, поспешив запить неосторожные слова французским вином.

– Мотивы одни, господа. – Лицо журналиста Флагова, когда-то красивое и порочное, блиставшее на телеэкранах, теперь испитое и тусклое, напоминало мертвенную осеннюю луну. – Если мы, вслед за Крымом, присоединим еще и Донбасс, наша экономика лопнет, как гнилой баллон. Мы не потянем, пупок разорвется. Не сможем кормить миллионы оголодавших безработных шахтеров, которые, чуть что, начинают стучать касками. А ведь теперь у ополченцев не отбойные молотки, а «калашниковы». Их больше не загонишь в шахты, они выставят блокпосты на Арбате. Правильно я говорю, Дмитрий Федорович? – Он воззрился на Кольчугина, и на его выцветшем лице, словно его потеряли бархоткой, проступили черты порока.

– Если мы допустим, что их убьют, то их кровь будет на нас, – глухо ответил Кольчугин, чувствуя, как боль тонкими струйками течет от сердца в другие части тела. Так по небу струятся волокна близкой грозы, невидимой за лесами.

Он смотрел на балдахин, под которым тянулся накрытый стол. За этим столом должен был появиться Президент с соратниками из ближнего круга. Произнесет праздничную речь, и станет понятен смысл многомесячной пытки. Почему Россия допускает убийство городов, гибель отчаянных ополченцев, взывающих о помощи. Но помощи нет, а есть ликование врагов, ханжеский лепет политиков и нестерпимая мука народа. Президент откроет смысл операции, вдохнет надежду, развеет тягостные подозрения.

Так думал Кольчугин, связавший с Президентом свои надежды, свою репутацию и доброе имя.

– Напрасно, господа, мы ждем от Президента решительных действий, как в случае с Крымом. – Журналист Флагов неряшливо оттопырил фиолетовую губу, и Кольчугину было неприятно смотреть на эту мокрую, в слизистом блеске губу. – Президент остановлен. Его остановило ближайшее окружение, которое сядет сейчас вместе с ним за стол. Мы же знаем, оно молится на Америку и говорит Президенту: «Не рыпайся, а то споткнешься». Вы посмотрите внимательно, зреет заговор. Он чувствует себя в западне. Не дай бог его не станет, как Кеннеди. Здесь начнется такое, что 91-й год покажется пикником. Начнется такой Донбасс!

– Нет, нет, зачем нам эта конспирология? – поспешил перебить Флагова политолог Лар. – Президент знает, что делает. Перед ним мучительная дилемма. Он хочет сохранить архитектуру в Европе, на построение которой потратил два президентских срока. И одновременно не пускает Америку на Украину. Если он сдаст Новороссию, мы получим на границе русофобское подрывное государство, несравненно более мощное, чем какая-нибудь Эстония. А если введем войска в Новороссию, получим «холодную войну», выиграть которую не способны. Вот Президент и медлит, ищет компромисс. Возможен ли такой компромисс, другое дело. – Лар многозначительно умолк, всматриваясь в морщинистый лоб журналиста. Еще больше стал походить на дятла, готового ударить клювом и выхватить съедобную личинку.

– Я не могу смотреть телевизор. И жена не может, и теща. – Историк Муравин взволнованно колыхал свой зоб. – Женщины плачут, проклинают Президента, называют его людоедом. Но я не позволяю себе ожесточаться. Я говорю так: «Мы действуем эмоционально, по побуждению сердца. А Президент действует в обстоятельствах. У него государство. Ему на стол кладут сводки с информацией, которую он должен учитывать. Боеготовность армии. Состояние

экономики. Союзнические обязательства. Например, я знаю, что в Казахстане и в Беларуси очень встревожены присоединением Крыма. А не постигнет ли их та же участь? Все это Президент должен учитывать. Я вам скажу, нелегко заново собирать империю.

– Не смешите меня! – зло хохотнул художник Узоров. – Какой он вам император! Обычный либерал! Красиво пожить, пообниматься с Президентом Америки, наших либералов к сердцу прижать! Ему эти донбасские мужики с тяжелыми шахтерскими лицами противопоказаны. Пусть их снарядами засыпет, он не дернется. Я прав или нет, Дмитрий Федорович?

– Если вы правы, мне лучше не жить, – ответил Кольчугин, слыша, как сердце дрожит, подвешенное на паутинках боли.

Он ждал появления Президента. Ждал его речь, в которой найдет ответ на мучительную загадку. Желал увидеть его лицо, еще недавно сиявшее в Георгиевском зале среди хрустальных люстр и беломраморных плит с золотыми именами гвардейских полков. И зал вставал, бушевали аплодисменты. Он говорил, что Крым вернулся навеки в родную русскую гавань. Что русские своих не бросают. И все обожали его озаренное лицо.

– Он все еще хочет понравиться Западу. – Журналист Флагов сморщился, словно в рот ему попала горькая ягода. – Он хочет задобрить Америку, но ему уже вынесли приговор. Если он даст слабину, его уничтожат, как уничтожили Милошевича и Каддафи. Только вперед! Наступать, наступать! Иначе он покойник, да и мы вместе с ним!

– Не спешите с выводами, мой друг, – с загадочным видом произнес историк Муравин. – История умнее нас. Русская история умнее, чем НАТО. Мы еще увидим разящий удар Президента.

В воздухе что-то щелкнуло, и металлический голос нараспев, среди шатров и золотых куполов, возвестил:

– Президент Российской Федерации...

И все отвлеклись от переполненных яствами тарелок, винных бокалов. Как подсолнухи, обратились все в одну сторону, к белому балдахину. Там уже стоял Президент, окруженный сподвижниками.

Кольчугин неясно различал лицо Президента. Сжатые брови, узкие напряженные губы, заостренные подбородок и скулы. То знакомое выражение, когда страсть и энергия рвались наружу металлическим звоном слов, искрящим блеском глаз. Тогда его речь разносилась по миру, как манифест государства, которое одолевает еще один рубеж становления, сбрасывает ветхую кожу, сияет доспехом. Сейчас государство вновь оказалось перед грозной чертой. Возвращало себе отторгнутые территории. Обретало веру в неодолимую русскую силу.

Кольчугин ждал манифеста. Ждал слов, подтверждающих эту веру.

– Дорогие друзья, соотечественники, – раздался знакомый голос Президента. Кольчугин вслушивался, стараясь выделить живые биения из мегафонных шелестов. – Поздравляю вас с замечательным праздником, Днем России.

Голос был тусклый, без эмоций. Произнесенные тусклым голосом слова обесценивали значение праздника, делали бесцветным слово «Россия». Не было восторженного металлического звона, искрометного взлета. Сухое, пергаментное, блеклое обессилило Кольчугина. Кремль с золотыми куполами и медовыми дворцами казался нарисованным на картоне.

– Наша Родина создавалась многими поколениями наших предков. Создавалась великими усилиями и жертвами. В создании нашего российского государства принимали участие все народы нашей страны.

Слова были обыденные, потерявшие цвет, как стиранное много раз полотенце. Их использовали для рутинных выступлений и казенных речей. Переносили из одной речи в другую. Помещали в заранее отведенные места, как детали на конвейере серийных изделий. Кольчугин болезненно слушал.

– В нашей жизни бывает много трудностей, но и много свершений, побед. И трудности, и победы объединяют нас, и мы дорожим нашим единством.

Шелестящий легковесный сор сыпался на голову Кольчугина, сострадавшего ужасам и страданиям Донбасса. Под грохот гаубиц. Среди красных гробов. Истошно кричащих женщин. Русских пленных, которых ставили на колени среди поверженных площадей. И от этих зрелищ, неустанно поставляемых телевидением, рыдала вся Россия. Умоляла и кляла Президента.

– Мы верим в наше будущее, в наши моральные ценности, в наше единство, в процветание нашей России.

Кольчугина поражала ничтожность слов, мертвенность языка, вялость интонаций. Словно Президент находился под гипнозом и повторял внушаемый мертвенный текст. Он был околдован. Был в чьем-то плену. Его психикой управляли с помощью внешних воздействий. Уводили от грозной кровоточащей жизни, заменяя ее фанерной декорацией. И хотелось крикнуть, возопить, разбудить Президента. Вернуть его в действительность, где горит Донбасс, рушится под залпами гаубиц очередная дом, ополченец метится из гранатомета в ревущий танк.

– С праздником, друзья! За Россию!

Все аплодировали, взволнованно поднимали бокалы. Некоторые с поднятыми бокалами приближались к балдахину настолько, насколько позволяла охрана. Там были генералы, знакомые Кольчугину по Чеченским войнам. Дипломаты, с которыми встречался на международных форумах. Артисты, приглашавшие его на свои спектакли. Все кружились, сталкивались, перетекали один в другого, словно жидкое стекло.

Кольчугин качнулся. В его горле начинался крик, который перешел в хриплый клекот, в жалобный стон. Он обмяк на стуле. В грудь его кинули раскаленный булыжник.

За столом никого уже не было. Его недавние собеседники кружили в людских водоворотах, с кем-то обнимались, насмешничали. Судили и рядили, попутно решая свои суетные дела. Никто не замечал красоты кремлевских куполов. Никто не смотрел в небеса. Никто не старался разгадать тайну русской истории, реющую среди узорных крестов. Золотые купола беззвучно хохотали над теми, кого завтра сметет без следа загадочный русский вихрь. Они бесславно исчезнут, так и не успев прочесть поднебесную надпись на колокольне Ивана Великого.

Кольчугин тяжело поднялся и побрел из Кремля.

## Глава 3

Кольчугин вернулся в свой загородный коттедж, в который уж десять лет как переехал из фешенебельной московской квартиры. Они с женой радовались тишине, окрестным дубравам, водохранилищам, от которых ветер приносил запах воды, тихие туманы и белых крикливых чаек. Они перенесли в свое загородное жилище фетиши прожитой жизни. Иконы, которые собирали, путешествуя по северным деревням. Глиняные и деревянные игрушки народных мастеров и затейников. Разноцветный фонарь, под которым протекло его детство и собиралась многочисленная, теперь уже канувшая родня. И конечно, книги, эти хранилища, в которых, превращенная в романы, сберегалась прожитая им жизнь.

Их дети обзавелись семьями, разъехались по своим домам. И этот загородный коттедж был прибежищем их старости, приютом последнего, отпущенного им срока.

Кольчугин вернулся из Кремля изнуренный. Своей одинокой усталой волей был не властен повлиять на чудовищную лавину событий, под которой погребалась эпоха. Рушились города, скрежетали границы, маячила мировая катастрофа.

Он вернулся в свой дом, где все было внятно, проверено, сопоставимо с прожитой жизнью, с тихой болью воспоминаний.

Ходил по дому, приближаясь к предметам, которые вызвали мысли о жене. В первое время после ее смерти эти прикосновения причиняли нестерпимую боль, сотрясали рыданиями. Но, мучаясь, он нуждался в этих страданиях, вызывал рыдания. Рыдания прорывали глухую стену, за которой скрылась жена. Он прорывался к ней, захлебываясь болью, и они на несколько мгновений оказывались вместе.

Постепенно рыдания сменились ноющей мукой. Жена присутствовала в доме, пробуждая позднее раскаяние, неутолимую тоску. Но постепенно, через три года, тоска превратилась в тихую печаль, сладостное обожание, терпеливое ожидание встречи.

Он приблизился к дивану, на котором лежала маленькая, шитая золотой нитью подушка. Ее когда-то положила жена, и он помнил, как ее голова касалась подушки. Он провел рукой над золотым шитьем, словно погладил жену по голове. «Милая!» – произнес он беззвучно.

На камине стоял кованный подсвечник с остатками розового воска, с той последней новогодней ночи, когда жена, уже больная, вышла к столу, и они чокнулись бокалами шампанского, и взгляд жены был умоляющий, словно она знала о неизбежной разлуке. Кольчугин тронул застывшую каплю воска. «С новым годом, родная!» – произнес, чувствуя, как начинают дрожать губы.

На стене, укрепленное булавкой, красовалось ястребиное перо, серо-коричневое, рябое. Жена нашла его на лесной дороге, принесла домой и прикрепила над дверью. Он посмеивался над ее привычкой засушивать в книжках полевые цветочки, собирать на память шишки, речные ракушки, разноцветные камешки. «Ты, как сорока, все тащишь в свое гнездо!» Теперь, коснувшись пера, подумал, что перелистает томики Пушкина, Тютчева и Есенина, в которых таятся выцветшие колокольчики, анютины глазки, розовые гераньки и зазвучит ее родной голос.

Ему казалось, что жена появляется в доме во время его отсутствия. Кто-то невидимый перекладывал в его кабинете очки, листы бумаги. Кто-то перевешивал пиджак с одной вешалки на другую. Кто-то клал на его рабочий стол садовый цветок. Комнату жены, где она умерла, он боялся открывать, чтобы в ней сохранилось ее дыхание. Плед, которым была покрыта широкая кровать.

Шкаф с ее платьями и платками. Японская ваза с драконом. Иконы в углу. Фотография, где они с маленькими детьми сидят на берегу пруда. От всего этого исходило тихое тепло. Словно жена ненадолго вышла из комнаты и скоро вернется.

Он услышал телефонный звонок. Бархатный, исполненный почтения голос принадлежал Виталию Пискунову, важной персоне центрального телевизионного канала.

– Дорогой Дмитрий Федорович, как себя чувствуете? Не отрываю ли вас от письменного стола? Очень соскучился.

– Чувствую себя по годам моим. Держусь на ногах. Но пора обзаводиться клюкой.

– Ну что вы, Дмитрий Федорович. Молодым за вами не угнаться. Из каждого вашего слова, из каждой строки так и брызжет энергия.

– Я так не думаю, – сдержанно ответил Кольчугин.

Когда-то Пискунов был подающим надежды писателем. Показывал Кольчугину свои первые рассказы о русской деревне, о деревенских старухах, доживающих одиноко свой век среди осенних дождей. Кольчугин благосклонно отозвался о рассказах, отмечал в них тонкое знание деревенского быта, присущее русским писателям сострадание. Но Пискунов не пошел по литературной стезе. Его поглотило телевидение, это стоцветное тысячеглавое чудище. Пропустило сквозь свое хлюпающее нутро. Изжевало, переварило. Из застенчивого литератора, размышляющего о горькой русской судьбе, он превратился в преуспевающего дельца, циничного исполнителя. В ловкого манипулятора, создающего на экране мнимую картину мира, угодную властям.

Обо всем этом подумал Кольчугин, слушая мягкий, сытый голос Пискунова.

– Я хочу пригласить вас, Дмитрий Федорович, в нашу программу «Аналитика». Мы обсуждаем кризис на Украине, и ваше мнение для нас бесценно.

– У меня нет мнения. Одни впечатления, которые рождает во мне ваша телевизионная картинка. Я вижу, как убивают русских людей в Донбассе, как штурмовики бомбят цветущие города, и во мне тоска и смятение.

– Нам очень важны ваши впечатления, Дмитрий Федорович.

Пискунов говорил вкрадчиво и настойчиво, как человек, которому редко отказывают. Он просил Кольчугина об одолжении, но его просьба была завуалированным требованием. Телевидение, которое представлял Пискунов, властвовало над умами и репутациями, и Кольчугин, которого почитали властителем дум, был многим обязан экрану.

– В этот сложный политический момент, Дмитрий Федорович, народ хочет услышать ваш голос. Без вас, без ваших эмоциональных и искренних слов наша передача будет неполной.

– Нет, Виталий, не настаивайте. Я не приду. Вам нужна аналитика, а я издам беспомощный вопль.

– Вы сильнее любого военного аналитика. За вашими плечами столько войн. Ваши романы – это история баталий последних пятидесяти лет. Мы вас ждем с нетерпением.

– Не настаивайте, Виталий, я не приду.

– Ну, хорошо, Дмитрий Федорович, сейчас вы устали. Позвольте мне позвонить еще раз вечером. Подумайте, это очень важная передача. Ее будут смотреть в Кремле.

Кольчугин отложил телефон, в котором меркли кнопки и угасал голос Пискунова, как гул отлетающего шмеля. Смотрел на книжную полку с беззвучными рядами книг, в которых был не слышен грохот убиваемых городов.

Он видел, как убивают Герат, гончарный, коричневый, клетчатый, в который вонзались снаряды «Ураганов», прорубая в воздухе свистящие, полные огня туннели. Над городом поднимались жирные шары дыма, превращались в темных великанов, которые шатались на тонких ногах, покачивали турбанами.

Он видел убитый Вуковар, растертый в мелкую крошку. Дымились фундаменты, пахло горелым мясом. Черные деревья с обрубками ветвей, с дырами в стволах, были похожи на пленных, поставленных на колени, молящихся перед расстрелом. В церкви снаряд впился в голову ангела, и мимо мчалась обезумевшая танкетка.

Он стоял на мосту через Савву, где тысячи сербов живым щитом заслоняли Белград. Цвели пасхальные вишни, в церквах шли службы. Крылатые ракеты неслись над городом, взрывали дома, выгрызали хрустящие ломти фасадов. А люди, и он вместе с ними, взявшись за руки, мерно раскачивались и пели молитвенную слезную песню: «Тамо, далеко».

Грозный был страшен, казался котлом с кипящим варом. Танки били прямой наводкой, обрушивая здания вместе с гнездами снайперов. За Сунджей отряды чеченцев прорывались из города, попадая на минные поля, под кинжальный огонь пулеметов. Дворец Дудаева, иссеченный осколками, казался обугленной вафлей. Из окон во все стороны валил дым. Высоко над кровлей трепетал Андреевский стяг, укрепленный бойцами морской пехоты. Из разорванного газопровода вырывалось шумное пламя. В горячем воздухе, среди растаявших снегов, разбуженная теплом, расцвела вишня.

Он проник в сектор Газа из Египта через тесный туннель в тот момент, когда начался налет авиации. Израильские самолеты подлетали к городу, выпуская ракеты, и одно за другим с жутким грохотом рушились высотные здания. С диким воем неслась по улице «Скорая помощь», разбрасывая лиловые вспышки. На операционном столе лежала девочка с оторванными руками, дрожали ее красные стебельки. И летели в небо сотни «Касамов», оставляя курчавые трассы.

Он несся в боевой машине пехоты по улицам сирийской Дерайи, слыша, как чавкают по броне пули. Город осел, провалился, словно зверь, у которого подрезали поджилки. Пустые окна зияли, и из каждого по фасаду тянулся язык копоти. На асфальте лежал мертвец в долгополой одежде, с отвалившейся белой чалмой. Боевые машины пехоты, не успевая отвернуть, наезжали на мертвеца, расплющивая гусеницами.

Его книги были надгробьями, под которыми лежали убитые города. Названия романов были эпитафиями на могильных плитах. Тексты были надгробными рыданиями. Он стремился в эти города, чтобы закрыть им глаза. Услышать их предсмертные стоны. Но, стремясь в эти дымящиеся руины, уклоняясь от пуль и разрывов, он испытывал странное влечение, мучительное любопытство, как патологоанатом, рассекающий скальпелем мертвые сухожилия, проникающий в темное чрево, берущий в руки остановившееся сердце. Он создал в своих книгах эстетику разрушения, научился изображать смерть людей, железных машин и каменных городов. И он чувствовал греховность в своем стремлении изображать смерть вещей и явлений.

Кольчугин вышел из дома в сад. На яблонях, которые когда-то посадила жена, теперь наливались плоды. Их было так много, что ветки согнулись и могли обломиться.

Вдоль забора, скрывая изгородь, росли березы, дубы, орешник, посаженные женой, пожелавшей, чтобы дом был окружен лесом. Деревья разрослись, напоминали лесные опушки из той бесконечно далекой поры, когда он, исполненный молодых мечтаний, в предчувствии творчества и любви, уехал из Москвы в деревню и работал лесником в подмосковном лесничестве. Без усталости шагал по лесным дорогам и просекам, фантазировал и мечтал. Теперь рукотворный лес вокруг дома напоминал ему опушки, и ему казалось, что жена, посадившая лес, уже тогда предвидела его одиночество. Окружила драгоценными воспоминаниями, которые рождали деревья.

Он сел за стол, над которым распустила ветки рябина. Ягоды начинали созревать. Когда они нальются красным соком, прилетят дрозды, шумно, стрекоча и звеня, усядутся в рябину. Станут обклеивать ягоды, сорить на стол, вспыхивая в ветвях стеклянными крыльями. И утром, выходя в сад, он увидит усыпанный ягодами стол и рябое перышко, прицепившееся к столу.

Кольчугин смотрел на рябину, на ее смуглые ветви, резные листья, багровеющие гроздья. Образ жены тайно присутствовал в дереве. Жена перенеслась в рябину, покидая дом в дождливый сентябрьский день, усыпанная осенними хризантемами и астрами в длинном гробу. Ее неживое тело покинуло дом навсегда, но душа не последовала за рыдающей родней, а пере-

летела в рябину. И Кольчугин в солнечные январские дни, в апрельские туманы, в шумные летние ливни подходил к рябине и целовал ее. Целовал свою ненаглядную, обожал ее поздней горькой любовью.

В эти мучительные грозные дни, когда убивали города Донбасса, когда Донецк и Луганск, Краматорск и Славянск, Мариуполь и Красный Лиман оставляли в его душе кровавые ожоги, он стремился туда, к ополченцам. Чтобы вместе они отражали атаки самолетов и танков. Ополченцы – переносными зенитно-ракетными комплексами и гранатометами. А он – своей ненавидящей волей, своим мистическим даром останавливать в воздухе снаряды и пули, сбивать самолеты, превращая их в дымные вспышки.

Его душа раздваивалась, стремилась в две разные стороны. В убиваемые города, чтобы закрыть им глаза, услышать их предсмертные стоны. И в восхитительное прошлое, где его изнуренная, прожившая жизнь душа отыщет любимых и близких. Последует вслед за ними туда, где «нести болезней, печалей».

Зазвонил телефон. Любезный, бархатный голос Виталия Пискунова вновь повторил приглашение на телепрограмму:

– Дорогой Дмитрий Федорович, я так просто от вас не отстану. Уж позвольте мне на правах вашего давнего ученика и почитателя нижайше просить вас откликнуться на мою просьбу. События в Донбассе – тема, которая волнует всех русских людей. Где, как не там, находит свое выражение «русская идея»? Ведь это тема всей вашей жизни. Вы скажете об этом ярко и страстно. Приезжайте, умоляю вас.

В голосе Пискунова Кольчугину чудилось бархатное жужжанье шмеля, когда тот садится на вкусный цветок. Таким цветком, лишенным вкуса и цвета, был Кольчугин. И это сравнение раздражало его.

– Нет, не настаивайте. Я ничего не понимаю в происходящем. Здесь какая-то жестокая игра, смысл которой я не улавливаю. К тому же я устал, неважно себя чувствую. Не приеду.

– Мы вас привезем и отвезем, как самого дорогого гостя. Приставим к вам несколько прелестных девушек, и они будут ловить все ваши капризы и прихоти.

– Нет капризов и прихотей. Хочу покоя.

– Сейчас очень важный момент, Дмитрий Федорович. Общественное мнение взвинчено. В Интернете буря, все пошло с ума. На Президента оказывается невиданное давление. Его ломают, ему угрожают, его подкупают. Ему нужна поддержка. Ваш авторитет огромен. Поддержите Президента.

– В чем поддержать? Разве он не понимает, что нужно ввести войска? Прекратить убийство русских. Это и есть «русская идея» – спасти Новороссию от зверского истребления! В этом долг Государства Российского! Долг Президента!

– Вот и скажите об этом. Вы все эти годы говорили о Государстве Российском, даже в самое не подходящее для этого время. Это ваша миссия. Вы мессианский человек, Дмитрий Федорович.

– Мое место не на телевидении, а в Новороссии, среди ополченцев. Но, увы, я бессильный старик.

– Вы здесь нужнее, Дмитрий Федорович. Я не стал бы настаивать, если бы это касалось только меня. Но это не моя просьба. Я говорю от имени другого лица.

Кольчугин представил это другое лицо, то, бледное, размытое под белым балдахином, откуда доносились блеклые тусклые слова. Испытал отторжение.

– Нет, Виталий. Не настаивайте. Я не приеду.

Кольчугин отложил телефон, в котором стихало бархатное жужжанье шмеля.

«Не хочу! Не могу! Другая задача!»

Он должен отвернуться от этого ужасного, невыносимого мира. Заслониться от него непроницаемой завесой. Обратиться душой к драгоценному прошлому, где столько чудесного,

загадочного и волшебного. Молитвенной мыслью коснуться этого прошлого, которое откликнется любимыми голосами. Устремиться к ним, и они уведут его туда, где нет смерти, где божественные сады и его земная завершенная жизнь получит неземное продление.

«В этом задача. В этом искусство завершить бытие».

Ему казалось, что если превратить свои мысли в молитву, сбросить утомленную плоть, свить свои чувства в лучистый пучок и метнуться в рябину, в ее листву, в ее красные гроздья, в серебристое сияние ветвей, то случится чудо. Он обнимет жену, она подхватит его в объятия, и, омытые древесными соками, они умчатся в юность, в восхитительное время, когда он жил в деревне, писал свои первые рассказы, и она приезжала к нему, еще не жена, а невеста, в его тесную избушку, в светелку за русской печкой.

Ночное оконце в инее, в пернатых морозных листьях. Колючая тень шиповника на белевой печи. Под потолком качается голубая беличья шкурка. Он читает свой наивный рассказ, отрывается от листа и смотрит, как она лежит на кровати под стеганым красным одеялом. Ее глаза восхищенные, обожающие, ей нравится описание коня, зимней дороги, слюдяного следа из-под санных полозьев.

Они играют в карты. На столе россыпь дам и валетов. Она огорчается, когда проигрывает, на глазах ее выступают слезы. Он поддается, и она, выигрывая, целует его. За оконцем, по морозной солнечной улице, кто-то идет в тулупчике, разноцветном платке.

Они бегут на лыжах по огромному снежному полю. Их лыжи наезжают на сухие, торчащие из-под снега цветы. Ломают, осыпают легкие семена. Солнце, если сжать ресницы, превращается в пушистый радужный крест. Они влетают в лес, в прохладные синие тени. И лось, сиреневый, выбрасывая из ноздрей букеты пара, смотрит на них фиолетовыми глазами.

С лесниками на поляне он грузит на трактор сосновые бревна. Подхватывают в несколько рук, закидывают на тележку. Сизые от мороза лица, запах пиленого леса, крики, хохот. Она в стороне следит за его работой, и он, подхватывая золотое бревно, любит ее среди солнечных сосен, знает, что им суждена огромная неразлучная жизнь.

Из натопленной, жаркой избы они вышли в морозную ночь. Хрустела дорога. Над избами пышными хвостами стояли дымы. Слабо светились окна. Дорога вела за деревню, в гору, в открытое поле, и они, взявшись за руки, шли под звездами, запрокинув лица к мерцающему необъятному небу. Сквозь варежку он чувствовал ее тонкие пальцы. Они разжали руки, она отстала. Он слышал, как похрустывает под ее торопливыми шагами дорога. Она едва поспевала за ним. А его подхватила ликующая сила, стремительно повлекла. Глядя на звезды, он шагал, быстро, мощно и радостно. Зимняя дорога вела в таинственные поля. Глаза туманили морозные слезы. Звезды сливались в сверкающую струю, которая мчала его в бескрайнее будущее. Там, в этом сверкании, его ждали великие откровения, немислимые приключения, небывалое творчество. Он вдруг понял, что идет один. Остановился, переводя дыхание, вглядываясь в морозную мглу. Она появилась, медленно подошла:

– Знаешь, о чем я подумала?

– О чем, моя милая?

– Эта дорога как наша жизнь. Сначала мы пойдем по ней, взявшись за руки. Потом ты отпустишь мою руку, но мы будем идти рядом. Потом ты прибавишь шаг, и я отстану. Потом ты потеряешь меня из вида, я пропаду, и ты будешь идти один. И потом вдруг очнешься на этой дороге, а меня нигде уже нет.

Позже, потеряв жену, он поразился предчувствию, которое посетило ее на зимней дороге, когда ничто не предвещало разлуку и они были безмятежно счастливы.

Теперь от этого воспоминания подступили рыдания. Кольчугин, сгорбившись, сидел под рябиной, и ему казалось, что жена из листвы смотрит на него с состраданием.

В сумерках он вернулся в дом, в его пустоту. Побродил. Посидел на диване. Перемыл тарелки и чашки. Не желал включать телевизор, чтобы не видеть охваченных огнем городов, багровых, как ожоги. Не сумев совладать с собой, включил телевизор.

Украинский штурмовик пикировал на предместье Донецка, и красные шары взрывов катились среди садов. Из окон многоэтажного дома валил жирный дым, и две старухи, помогая друг другу, семенили по улице. Ополченцы с угрюмыми, закопченными лицами на блокпосту проверяли машины, и у одного на голом плече синела татуировка цветка. Танк Т-34, снятый с постаментов, украшенный гвардейскими лентами, катил на передовую, где его поджидали сотни украинских танков. Лобастое, с тяжелыми надбровными дугами лицо министра иностранных дел, который устало, в который уж раз, осуждал Украину за применение силы, и его слова казались безвольным лепетом.

Кольчугин, тоскуя, выключил телевизор. Города, охваченные пожаром, звали его. Каждый взрыв, каждый рухнувший дом был криком о помощи. Там, в городах Донбасса, было его место. Прошлое, в котором он желал обрести духовный свет, оправдание яростно прожитой жизни, прошлое не пускало в себя, рождало рыдания. В райских садах, куда стремилась душа, в волшебных цветниках и аллеях перекатывались шары разрывов. На клумбе божественных роз лежал ребенок с оторванными руками.

Кольчугин нашел телефон и набрал номер Виталия Пискунова.

– Я согласен. Завтра приеду.

– Вот и прекрасно, Дмитрий Федорович, вот и прекрасно!

Кольчугин слушал, как беспокойно, с перебоями, стучит сердце.

## Глава 4

На следующий день он вызвал шофера и отправился на телевидение. Проезжал сквозь подмосковные леса и поселки, которые сменялись супермаркетами, автосалонами, товарными складами. Москва приближалась туманным железным облаком. Кольцевая дорога казалась вольтовой дугой, которая дымилась, мерцала и плавилась. Автомобиль, въехав в Москву, увяз в липком месиве, с трудом продвигался сквозь изнурительный вязкий кисель. Истошно стонали кареты «Скорой помощи», выли милицейские машины, и их вой внезапно переходил в утиное кряканье.

Кольчугин угрюмо нахохлился на заднем сиденье. И оживился, когда впереди, словно серебряный слиток, возник монумент Рабочему и Колхознице. Два ангела в буре света летели над туманной Москвой, продолжая трубить о великом исчезнувшем веке.

Останкинская башня казалась луковицей, из которой вознесся одинокий громадный стебель. Исчезал в лазури. Источал бесцветные стеклянные вихри. Вид башни вызвал в нем отторжение, не исчезавшее с тех пор, как у ее подножья пулеметы стреляли в толпу. Он помнил, как, разбрасывая бортами людей, мчался безумный бэтээр. Из люка, не управляя машиной, смотрел ошалевший механик-водитель, и Кольчугин кинул ему вслед бутылку с бензином. Проманхнулся, и бензин потек на асфальт. В парке, окружавшем башню, в дубах застряли пули тех кровавых дней.

Здание телецентра – огромный, уныло застекленный брусок – было заводом, фабрикующим бестелесные образы. Было мясорубкой, вырабатывающей человеческий фарш. Было фабрикой-кухней, где дни и ночи готовилось душное варево, которым питали народ. Кухня нуждалась в громадном количестве телевизионного мяса, едких приправ и наркотических специй. По коридорам двигались бесконечные толпы. Детские коллективы. Спортивные команды. Вереницы бестолковых, понукаемых пенсионеров. Скользили, как ящерицы, гибкие, с хвостами девицы. Проскакивали длинноволосые юноши с серьгами, переговариваясь по рации. Все это чавкало, хрустело, пускало соки, в которые подмешивались пряности, вкусовые добавки. Гуща процеживалась, обесцвечивалась, превращалась в бесплотный пар, в мираж, который возгонялся в трубочатый стебель телебашни, улетал в беспредельность.

«И я, и я телевизионное мясо», – ворчливо думал Кольчугин, поспевая за длинноногой девицей.

Его встретил Виталий Пискунов. Когда-то худенький юноша, с провинциальной застенчивостью внимавший поучениям московских знаменитостей, теперь он был округлый, упитанный, с рыжеватой лысеющей головой. Его мясистые, чуть оттопыренные губы выражали мягкую иронию пресыщенного, выдавшего виды дельца. От него зависело множество репутаций и судеб, включая и тех, кто когда-то числился его покровителем. Большие деньги, близость к власти, искушенность в интригах сделали Пискунова барственно-мягким, утолненным и снисходительным.

– Дорогой Дмитрий Федорович, я ваш должник. Я и до этого ваш вечный должник, но теперь особенно. Требуйте, чего хотите.

– Вы не могли обойтись без меня? Почему такая экстренность?

– Я не мог вам сказать по телефону. Эту передачу будет смотреть Президент.

– У него есть для этого время?

– Вы видите, что творится. Мы накануне войны. Президент перед трудным решением, быть может, роковым. Он хочет знать, что думают лидеры общественного мнения. А вы несомненный лидер.

– Я буду говорить резкие вещи.

– Это и нужно, Дмитрий Федорович, это и нужно! Сегодня у нас собрались посредственные, пресные люди. Ни рыба ни мясо. На вас вся надежда! – Он мял в своих теплых руках костистую руку Кольчугина, провожая его до гримерной.

Сидя перед зеркалом, Кольчугин не смотрел на свое отражение. Закрыв глаза, чувствуя убаюкивающие прикосновения молодой женщины, желая, чтобы эти женственные касания длились дольше.

Его отвели в гостевую комнату, где уже собрались участники шоу. Все были знакомы по прежним представлениям, встречались за круглыми столами, на политических форумах. Все были приближены к власти, находясь на разном от нее удалении. Пользовались ее покровительством, ее благами. Составляли обширный круг политологов, политиков, общественных деятелей, которые тонко навязывали обществу рекомендации власти. Их суждения, иногда блистательные, не были самостоятельными. Напоминали раствор, в который кремлевский аптекарь капал из пипетки свой концентрированный препарат. Среди них не было тех, кто пребывал в ссоре с властью. Составлял едкую оппозицию. Кто отслоился от власти, хотя в прежние годы слыл кремлевским баловнем. Законодателем политической моды. Трубадуром Кремля.

Кольчугин раскланялся. Ему предложили кофе. Он принадлежал к их кругу, хотя и оставался особняком. За ним тянулся шлейф непримиримого протестанта, яростного противника режима, «проповедника красных смыслов». Этот шлейф не таял и теперь, когда Кремль, заполучив в свои чертоги нового Президента, стал ратовать за сильное государство. Приблизил к себе Кольчугина, пользовался его репутацией патриота, государственника, поборника «русской идеи».

– Наши либералы совсем обнаглели. Вы слышали? Они завтра устраивают шествие в поддержку киевских властей. Подлецы такие! Вторят Киеву, называя ополченцев Донбасса террористами. Призывают бомбить и бомбить. Они что, сошли с ума? Ведь среди них есть приличные люди! – Это произнес Коловойтов, главный редактор журнала, приближенного к Кремлю. Рослый, вальяжный, барственный, он источал благодушие преуспевающего, ни разу не проигравшего человека. Умел маневрировать среди политических рифов и отмелей. – Неужели либералы так уверены в своей скорой победе? – Коловойтов был мягкий либерал и не хотел, чтобы его отождествляли с радикальными либеральными вождями, с которыми у него сохранялись неявные отношения.

– Президент справедливо называет их «пятой колонной» и «национал-предателями». – Депутат Круглых сделал грозное лицо, и его язвительная улыбка была обращена к Коловойтову, который своей дружбой с либеральными оппозиционерами вполне мог прослыть «национал-предателем». – Пора с ними разобраться.

– Мы же понимаем, кто стоит за их спиной. Вашингтонский обком. Они обложили Президента со всех сторон. Ох, и несладко нашему Президенту! Похудел, нервный, глаза запали. Сегодня он нуждается в поддержке, как никогда. – Юрист Чаржевский оглядел всех быстрым тревожным взглядом, словно хотел убедиться, не сказал ли он лишнего, не допустил ли неосторожных суждений.

– Но вы заметили, что телеканалы смягчили риторику в отношении Киева? То «бандеро-фашисты», то «кровавый режим», то «русофобы». Теперь этого нет и в помине. «Киевские власти. Президент Украины». Может быть, мы дистанцируемся от Новороссии? – сказала Лапунова, близкая к Кремлю активистка, устроительница патриотических митингов. Она была с челкой, с едва заметными морщинками у глаз, которые не удалось победить многочисленными массажами и втираниями. – Этого нельзя допустить. Мы не должны предавать Новороссию. Я созываю большой митинг с участием патриотических организаций. Мы выступим в поддержку Донбасса.

– Все это хорошо, – хмуро произнес военный эксперт Родин. – Но Донбассу нужны не митинги в Москве, а танки и установки «Град» в Донецке и Луганске.

Все умолкли. Попивали кофе.

– А вы как считаете, Дмитрий Федорович? – обратился к Кольчугину Коловойтов. – Вы наш мудрец, наш гуру.

– Если раздавят Новороссию на глазах у нас, русских, значит, русские перестали быть народом, – глухо произнес Кольчугин. И молчание продолжилось, позвякивали кофейные чашечки.

Появились ловкие молодые люди и стали оснащать гостей микрофонами. Кольчугин покорно подставлял голову, грудь, позволял опутывать себя проводками. Теперь он становился частью огромной электронной системы, был соединен с телебашней, орбитальными спутниками, миллионами телеэкранов. Его эмоции, мысли, его голос и образ отбирались у него, становились собственностью этой системы, которая с их помощью управляла сознанием огромного измученного народа. Направляла это сознание в удобную государству сторону.

Барышня, приставленная к Кольчугину, помогла ему пройти в студию, провела сквозь черные кулисы, сгустки кабелей, перекрестья конструкций. Он оказался среди яркого света, дразнящих вспышек, шумных оваций, которыми встретили его сидящие на трибунах статисты. Им вменялось создавать ощущение зрелища, подбадривать овациями участников телешоу.

Каждому гостю отводилась стойка. Все уже были на местах. В центре оставалось пустое пространство для ведущего. Шоу в прямом эфире транслировалось на Дальний Восток, где уже наступил поздний вечер. Затем, в записи, зрелище перемещалось на запад, накрывая разноцветным шатром Сибирь, Урал и, наконец, Европейскую часть и Москву. Москвичи увидят передачу сегодня вечером. Кольчугин к тому времени вернется домой, устроится в кресле перед телевизором и оценит со стороны свое участие в телешоу.

Аплодисменты зазвучали особенно громко. В студии появился ведущий Веронов. Белые манжеты сверкали на запястьях. Блестели в улыбке белоснежные зубы. Большое, с крупным носом лицо, обработанное гримом, было властным, как у полководца. Он минуту упивался аплодисментами, сиянием студии, обращенными на него взорами, словно позировал. Обошел гостей, пожимая им руки.

– Я очень, очень рад видеть вас в моей программе, Дмитрий Федорович, – сказал он Кольчугину. – Вы бесподобны. Я рассчитываю на вашу публицистику, всегда яростную и честную. – Эти слова Веронов произнес негромко, чтобы их не услышали и не взривовали другие гости.

Веронов был отдаленным отпрыском Пушкина, гордился своей родословной. Однако в родовой плавильный котел было брошено столько примесей, влито столько разных кровей, что бесследно исчезли родовые черты поэта, и вместо африканских пушкинских губ и курчавых волос появились монголоидные скулы и светлые арийские волосы.

– Минута до эфира! – возгласил взволнованный голос. Все замерли. Грянула бравурная музыка. Засверкали вспышки. Ведущий Веронов картинно развел руки, словно принимая весь мир в объятия, и сочно, зычно произнес:

– Начинаем нашу программу «Аналитика»! Самые жгучие вопросы! Самые яркие умы! Самые смелые прогнозы! Смотрим в будущее, чтобы не проиграть настоящее!

На мгновенье умолк, давая пространство аплодисментам. Двинул бровью, прерывая их шквал.

– События на Юго-Востоке Украины приобретают черты гражданской войны. Киев, заручившись поддержкой Америки, развязал себе руки и обстреливает города тяжелой артиллерией. Множатся жертвы среди мирного населения. Растет ожесточение схватки. Куда ведет нас война на Украине? Как мы в России можем предотвратить жестокие бомбардировки, гибель детей и женщин? На это ответят наши уважаемые эксперты.

Он повернулся к Коловойтову, приглашая начать дискуссию:

– Вы часто публикуете в своем журнале материалы о «Русском мире», уникальной «Русской цивилизации». Скажите, можно ли теперь, когда украинцы убивают русских, а русские украинцев, можно ли говорить о «Русском мире»?

– Видите ли, – Коловойтов с манерами кафедрального профессора поучающе поднял палец, – «Русский мир» – явление не сиюминутное. Это историческая данность, созидаемая русскими, украинцами и белорусами на протяжении столетий. И в этом созидании были провалы, междоусобицы, которые, однако, преодолевались глубинной общностью. Это общая для нас православная вера, даровавшая нашим народам общие райские смыслы. Это общие пространства, среди которых развивались наши народы. И это общий враг, который хотел нас поработить. И сегодня повторяется извечный западный проект «Дранг нах остен». Мы должны сделать все, чтобы сохранить единство наших народов. Уверен, «Русский мир» не разрушат крупнокалиберные гаубицы украинских нацистов.

Коловойтов величаво и удовлетворенно умолк. Грохнули аплодисменты. А Кольчугин испытал едкое разочарование. Витиеватость слов не объясняла, как прекратить убийство городов, истребление русских, надгробные рыдания Донбасса.

– А как вам, юристу-международнику, видятся действия украинских властей? – Веронов указал на Чаржевского, приглашая вступить в дискуссию.

– Как известно, киевские правители пришли к власти путем переворота. Поэтому эта власть нелегитимна и все ее действия априори нелегитимны. – Чаржевский говорил сочно, с наслаждением ставя одно слово подле другого, как мастер красиво и плотно кладет кирпичи, возводя искусную кладку. – Наше юридическое сообщество рассматривает возможность создания общественного трибунала, с привлечением европейских коллег, для осуждения военных преступлений Киева. Это будет второй Нюрнберг, на котором предстанут киевские политики, военные и, надеюсь, их вдохновители в европейском и американском истеблишменте.

На его губах играла тонкая улыбка презрения к киевским безумцам, не ведающим о своей будущей судьбе. Судьбе вождей Третьего рейха.

Студия по приказу невидимого дирижера взорвалась аплодисментами. А у Кольчугина гневный спазм. Непонимание, как эти витийства правоведа спасут убиваемые города, останавливают потоки гробов, где лежат растерзанные взрывами дети.

– Но не кажется ли вам, – обратился Веронов к депутату Круглых, – что Европа по-прежнему живет двойными стандартами? Разве не нарушают права человека тяжелые гаубицы, стреляющие по Донецку и Луганску?

Круглых был невысокий, плечистый, с глазами навывкате, в которых трепетали отраженные рубиновые огоньки. Он походил на рассерженного бычка, готового бодать.

– Я был в Страсбурге! Я им прямо сказал: «Господа, разве мы не подарили вам Восточную Германию? Не объединили разделенный немецкий народ? Почему же вы не хотите объединения русских? Мы, русские, объединимся, даже если вы каждому русскому запретите ездить в Европу. Мы без Европы проживем, а вот проживет ли без нас Европа?»

Статисты дружно хлопали, и депутат Круглых воспринимал аплодисменты как свидетельство своего ораторского мастерства. Кольчугин не понимал, почему они все уклоняются от страшного вопроса. Доколе Россия, ее Президент, ее армия будут медлить, отдавая русских Донбасса на погибель? Этим солнечным младенцев. Этим восхитительных молодых славянок. Этим утомленных мужиков, почернелых от угольной пыли. Где русские полки? Где отважный десант? Где «истребители пятого поколения», сбивающие преступных пилотов?

– Позвольте! – Он потянул руку, желая, чтобы Веронов дал ему слово.

Но тот остановил его властным жестом и обратился к военному эксперту Родину:

– Каковы возможности украинской армии продолжать боевые операции?

Седой, с ястребиным носом, стальными глазами эксперт по-военному вытянулся за стойкой.

– Докладываю. Украинская армия почти не боеспособна. Личный состав не обучен. Командирский корпус не укомплектован. Боевой дух низок. На вооружении находится техника советских времен, которая долго не ремонтировалась и непригодна к применению. Но это не значит, что армия не воюет. Воюет, причем зверскими методами, которым ополченцы Донбасса могут противопоставить только методы партизанской войны.

Эксперт Родин говорил о соотношении сил, о марках танков и гаубиц, о количестве вертолетов. Кольчугин чувствовал, как душит презрение к этим благополучным, обеспеченным людям, не смеющим произнести жестокую правду. Россия бросает русских в страшной беде. Русские офицеры, оставаясь в казармах, покрывают себя позором. И все они, находящиеся в этой бутафорской студии, напыщенные и вальяжные, являют пример безнравственности.

Шумели аплодисменты. Веронов господствовал над умами, направлял дискуссию то в одно, то в другое русло. Был музыкантом, нажимающим кнопки послушной флейты.

Повернулся к общественной активистке Лапуновой. Та нетерпеливо трепетала за стойкой, как попавший в паутину мотылек.

– А почему, скажите на милость, молчит российская общественность? Где митинги в защиту Новороссии? Где демонстрации, подобные тем, что проходили в дни присоединения Крыма?

– Ну как же вы говорите, что мы бездействуем! Мы вовсе не бездействуем. Идет сбор гуманитарной помощи. Идет сбор средств. Мы обратились к общественным организациям мира. Устраиваем выставки, изобличающие зверства украинских вояк. Через два дня в Москве намечен митинг в поддержку Донбасса. Участвуют все патриотические организации. Кстати, пользуясь случаем, обращаюсь к вам, Дмитрий Федорович. Приходите на митинг. Люди ждут вашего слова. Люди культуры за мир в Новороссии!

Статисты аплодировали. Веронов артистично повернулся на каблуках, обращаясь к Кольчугину:

– Вы принимаете приглашение, Дмитрий Федорович? Что бы вы сказали народу с трибуны?

Кольчугин почувствовал, как жаркая волна хлынула в глаза. Бурно вздохнул, стараясь пробить удушающий спазм боли.

– Я скажу, я скажу! – почти выкрикнул он. Увидел, как в испуге изменилось лицо Веронова. В нем, испуганном, вдруг проснулся дремлющий пушкинский ген, обозначились африканские губы, полыхнул в глазах фиолетовый эфиопский огонь. – Я скажу! Сидя в креслах, мы смотрим, как девочке в Славянске отрывают ручку, и она машет кровавым обрубок! Смотрим, как снаряд взрывает Дом престарелых в Горловке. Инвалиды вылезают из развалин на инвалидных колясках, а против них движутся танки! Нам показывают, как убивают самых лучших русских людей, а мы пьем кофе! Очнитесь, господин Президент! Введите войска! Введите десантников! Сбивайте проклятые самолеты! Спасите русских! Их кровь на нас! Вы слышите меня, господин Президент!

Он захлебнулся, умолк. Грохотали овации. Эфиопские глаза безумно смотрели на него.

– Мы уходим на рекламу! Оставайтесь с нами! – Веронов сбросил с себя образ факира, как сбрасывают плащ. Подошел к Кольчугину: – Благодарю, Дмитрий Федорович. Вы великолепны. Подняли уровень передачи своей эмоциональностью. Не сомневаюсь, Президент вас услышит.

– Извините, но я плохо себя почувствовал. Не сердитесь, но я вас покину, – слабо отозвался Кольчугин.

В машине он откинулся на сиденье, слыша, как бушует сердце.

Дома дрожащей рукой накапал сердечное зелье, выпил мутноватый настой и лег на диван. Он только что совершил поход в убиваемые города, который стоил ему сердечного приступа. Реальный поход, с преодолением границы, с уклонением от постов украинской армии, с пере-

бежками под обстрелом, – такой поход был ему не под силу. Но он выполнил свой долг. Ударил в набат на всю страну, и страна всколыхнется, Президент наконец очнется.

Сердечный приступ отшвырнул его от замысла книги, которая так и не будет написана. Война в Новороссии останется без своего летописца. Время снаряжаться в другой поход. Ему предстояло странствие, которое совершит, нырнув в листву и красные грозди рябины. И там, среди листвы, обнимет свою ненаглядную.

После свадьбы в деревенской избушке, где с лесниками пили красное вино, закусывая скудными конфетками из кулька, их повлекло в восхитительные путешествия. Страна была необъятной, а жизнь бесконечной. И теперь, спустя столько лет, он помнил каждую росинку на утренних каргопольских лугах, каждую перламутровую ракушку на отмели Белого моря.

Ее прозрачное на солнце платье, в котором струится чудное тело, черничная ягода на ее лиловых от сока губах.

В Туве, на берегу Енисея, где ночью сияла огромная золотая луна, а днем неслись по воде гремучие остроносые лодки, у них в головах распустился волшебный цветок. Розовый дикий пион Марьино корень. И теперь, в старости, он целовал его дивные лепестки.

В каргопольской деревне бабка Ульяна лепила из глины игрушки. Добродушных и милых львов, веселых наездников, лошадей с человеческими лицами. И она, его милая, подражая деревенской колдунье, лепила смешную лошадку. По сей день коняшка стоит на камине, храня тепло ее пальцев. Тронь, и коснешься ее руки.

Они шли вдоль Оки, и стадо коров, изнуренных жарой, сошло к водопою. Пастух, немой, с голубыми глазами, играл на певучей дудке. От пьющих коров по Оке уплывали круги, и она сказала: «Запомни все это, мой милый. Как о воде протекшей будешь вспоминать».

На Белом море с рыбаками они осматривали сети. Он помогал ей сесть в тяжелый карбас, танцующий на мелкой воде. Удары тяжелых весел. Поплавки, похожие на белых чаек. Рыбак цепляет багром уходящую вглубь бечеву. Тянут в четыре руки. Из воды появляется обруч, обтянутый сетью. Блестит ячея, мотается клок травы, извивается розовая морская звезда. Кольцо за кольцом, обруч за обручем. Кажется, из моря поднимается подводный дракон, огромный чешуйчатый змей. И она, его милая, испуганно смотрит на морское чудовище среди плеска солнечных вод. Кулаки рыбаков мокрые, изрезанные бечевой. Жилы напряглись на запястьях. Затаскивают в карбас тяжкий кошель. И море взрывается оглушительным треском, слепящим огненным взрывом. Огромные рыбыны, сияющие, как зеркала, рушатся в карбас.

Танцуют на головах, брызжут солнечной слизью. Рыбаки укрощают рыбин ударами колотушек. Громадная семга, дрожа хвостом, трепещет в руках рыбака.

Ночью, под негасимой зарей, целуя ее шею и грудь, он увидел у нее в волосах приставшую рыбью чешуйку.

– Я чувствую, что зачала, – сказала она. – Теперь у нас будет ребенок.

Дочь, которая у них родилась, в глубинах своих сновидений, в невнятной туманной памяти хранит этих солнечных рыбин, оленя, переплывающего синий залив, рыбаков с загорелыми лицами, их песни про коней и орлов.

День завершился. Стемнело. Кольчугин не включал телевизор, чтобы не видеть свирепых сюжетов. И только когда пришло время ток-шоу «Аналитика», он удобно уселся в кресло, желая просмотреть передачу.

Ведущий Веронов был напыщенно ярок, жонглировал гостями, как ловкий канатоходец. Коловойтов умело уходил от мучительных вопросов, стараясь не навредить своей репутации либерала. Юрист Чаржевский с красноречием адвоката ткал зыбкие понятия, в которых тонули смыслы. Депутат Круглых, похожий на сердитого бычка, бодал воздух. Военный эксперт Родин щеголял системами танков и установок залпового огня, но было неясно, в кого эти системы стреляют. Активистка Лапунова то и дело поправляла височки, и было видно, что ей не хва-

тает зеркальца. Она пригласила Кольчугина на митинг, после чего Веронов обратился к Кольчугину:

– Вы принимаете приглашение, Дмитрий Федорович? Что бы вы сказали народу с трибуны?

На экране было видно, как Кольчугин молчит, задыхается, пробивает жарким дыханием тромб в горле. А потом, страстно, с клекотом, выкрикивает:

– Я скажу! Я скажу!

На этом его крик оборвался. Возникло лицо Веронова, на котором полыхнули фиолетовые глаза эфиопа. Появилась реклама – последняя марка «Нисан».

Кольчугин сидел, ошеломленный. Его страстный монолог, его обращение к Президенту были вырезаны. Его порыв в Новороссию был остановлен. Его рот был запечатан, в него воткнули кляп. Его седины, его горькая проповедь, его молитвенный вопль были осквернены и попорчены.

Он кинулся к телефону. Набрал Виталия Пискунова:

– Что произошло? Почему все мои слова вырезали? Я стоял молчаливый, как скифская баба?

– Пришлось это сделать, Дмитрий Федорович. Возникли обстоятельства. – Голос Пискунова был печальный и терпеливый, словно он говорил с пациентом.

– Но как вы посмели? Без моего согласия! Вы уговаривали, умоляли меня прийти и обошлись со мной оскорбительно!

– Изменились обстоятельства, Дмитрий Федорович. Мы – государственный канал. Обстоятельства диктуют политику.

– Я больше никогда не приду!

– Мне очень жаль, Дмитрий Федорович, – устало и холодно отозвался Пискунов.

Кольчугин сидел в темноте одинокого дома. Сгорбился в кресле, несчастный, немощный, никому не нужный. Его время прошло. Он больше не опасен ни власти, ни врагам-либералам. Он никчемный старик, наказанный за свою неумную гордыню, свою назойливую суетность.

Он сидел в тишине, несчастный, один на всем белом свете, ненужный ни врагам, ни друзьям. И вдруг в тишине пустой темной комнаты услышал голос жены:

– Дима!

Голос был явный, с ее глубокими искренними интонациями, в которых звучало сострадание, утешение, словно она подошла и встала у него за спиной.

Он оглянулся, страхась увидеть ее и надеясь ее увидеть в ее синем домашнем платье с большими пуговицами, которое она надевала, отправляясь в церковь.

Оглянулся, жены не было. Слабо светилось окно, за которым угасала заря. Но голос был ее, это сердечное сострадание, нежность и жалость к нему.

Кольчугин обходил комнаты, суеверно надеясь увидеть жену, которая не умерла, а лишь покинула дом, и теперь, через два года, вернулась. Остановился перед дверью, ведущей в комнату жены. Там, за дверью, она стоит, высокая, тихая, с белым лунным лицом и чудесными карими глазами, которые он любил целовать. Они увидят друг друга, и он обнимет ее, прижмет к груди ее любимое лицо.

Кольчугин открыл дверь. Темная комната дохнула своей пустотой. И в этой пустоте что-то слабо светилось, словно кто-то, дорогой и любимый, недавно здесь побывал.

## Глава 5

Утром он долго не мог подняться. Был сломлен, раздавлен. Был разгромлен. Его стремление в осажденные города, сквозь кольцо окружения, было остановлено. Он вел караваны с оружием, отряды добровольцев, колонны танков, расчеты самоходных орудий. Но был остановлен ударом в спину. «Пятая колонна» разгромила его боевую колонну. Оплывший жиром, лживый Пискунов расстрелял его на подходах к Донецку. Веронов, виртуозный жонглер и обманщик, посадил его на минное поле в районе Луганска. И теперь он лежал на одре, собирая из клочков свое растерзанное тело.

Кольчугин не включал телевизор, боясь увидеть зрелище убиваемых городов, которые так и не дождались его помощи. Ополченцев, стреляющих из автоматов по пикирующим штурмовикам. Солнечных младенцев, дрожащих от страха в подвалах. Убитых старух с уродливыми ногами, лежащих на мостовой.

Он открыл Интернет и стал просматривать блоги тех, кто составлял «Пятую колонну» врага.

Едкий, как перец, Шутник, со свойственной ему вульгарной насмешливостью и веселой ненавистью, писал:

«Вы, донецкие вахлаки с неумытыми рожами! Повылезали, как крысы, из своих вонючих шахт и сражаетесь за «русское дело»? Насиловать украинских красавиц всей своей вшивой ордой – это «русское дело»? Грабить магазины и лавки беззащитных торговцев – это «русское дело»? Мучить пленных солдат, вырезая у них на спинах украинский трезубец, – это «русское дело»? Да, соглашаюсь, – это вековечное «русское дело». Вы, русские, бремя для всех народов, отбросы истории, тупик эволюции. Если бы вас не было на земле, человечество давно бы жило в раю. Нет никакой Новороссии, а есть Крысороссия. И слава богу, что вас травят, как крысы!»

Скептический и печальный Мизантроп рассуждал:

«Казалось, что животный русский инстинкт, лежащий в основании русской имперской истории, навсегда подавлен. Россия ступила на путь цивилизованных стран, для которых демократия, уважение прав отдельных людей или целых народов – есть незыблемый принцип. Оказалось, не так. Глубинная патология русской души вновь рождает чудовищ. Новороссия – чудовище русского сознания. Эту патологию не излечить гомеопатическими средствами. Ее приходится врачевать танками, бомбами и, не исключая, стерилизацией тех, кто агрессивно именует себя русскими, объявляя войну всему человечеству».

Исторический блогер Русак рвал на себе рубаху:

«Дорогие украинские братья! Мне стыдно, что я русский! Стыдно находиться в одной компании с таким Президентом, как наш, или с такими маразматиками, как псевдописатель Кольчугин. Я вступаю в ваш «Правый сектор» и вместе с вашими мужественными бойцами буду сражаться в Донбассе. В ваших рядах победным маршем пройду по улицам поверженного Донецка. А потом мы пойдем на Москву. На Тверской будем вешать на фонарях всю русскую сволочь, которая посягнула на свободу и независимость Украины. Пою вместе с вами любимую песню Степана Бандеры: “Де побачив кацапуру, там и риж!”»

Неистовая Валькирия взывала:

«Все, кто чувствует у себя на горле когтистую лапу русского шовинизма, все вместе с нами на Шествие! Сегодня! В четырнадцать! От площади шовиниста Пушкина до памятника интернационалисту Абаю! Наденьте украинские рубахи! Пойте украинские песни! С нами Европа! С нами Америка! С нами «морские коттики», которые задушат кремлевскую мышь! Если ты русский и едешь добровольцем в Донбасс, лучше удавись! Веревки продаются по адресу: «Киев. Майдан»! Слава героям!»

Кольчугин обессилел. Интернет напоминал сосуд, наполненный ядовитым раствором. В нем вскипали злые кислоты. Бурлили зловонные пузыри. Кипели отравы. Это была химия ненависти, происхождение которой было неясным. Эта ненависть гуляла по улицам, наполняла университеты, бурлила в концертных залах. Интернет был реактором, в котором вырабатывалась ненависть. Ненавидящая рука сыпала в этот реактор смертоносные химикаты. Раствор менял цвет. Переливался злыми радугами. В нем выпадали осадки. Плавала желтая пена. На поверхность всплывали уродливые утопленники, смердящие мертвецы.

Кольчугин, обессиленный от ядов, выключил Интернет. Вышел в сад. Там уже зацвели белые флоксы, любимый цветок жены. Вдыхал чудесный аромат, погрузив лицо в душистые соцветья.

Вдруг вспомнил призыв Валькирии. Марш русофобов скоро двинется по Страстному бульвару. «Пятая колонна» врагов пойдет добывать многострадальные города. И только он остановит жестокое шествие.

Кольчугин поспешно вызвал шофера и двинулся в пылавшую жаром Москву.

Он оставил машину в Каретном ряду и мимо «Эрмитажа», где играла легкомысленная эстрадная музыка, спустился по Петровке к бульвару. Перегораживая улицу, патрульные машины разбрасывали тревожные вспышки. Полицейское оцепление процеживало редких прохожих. Страстной бульвар был пуст, без фланирующей толпы, и Кольчугин, оказавшись под деревьями, у памятника Высоцкому, чувствовал пугающую пустоту. Казалось, воздух улетучился, и было трудно дышать. Деревья бессильно поникли ветвями, а букетик цветов у подножия памятника исчах от палящего жара. Такая удушливая пустота случается перед началом грозы. Или в канун землетрясения, когда замирают звуки и собаки трусливо прижимают уши, улавливая подземные гулы.

Кольчугин смотрел вдоль бульвара и видел туманную тьму, железную дымку, в которой что-то мерцало, шевелилось, перекачивалось. Казалось, движется вулканическая лава, окруженная металлической гарью. Он чувствовал тупое давление, которое передавалось через пустое пространство.

Показалась колонна демонстрантов. Ее змеиная голова отливала вороненой сталью, шипела, жгла, полыхала прозрачным пламенем. Воздух сгорал, испарялся. Колонна казалась гибкой, упруго пульсировала, но Кольчугин чувствовал ее металлический стержень, сверхпрочный, броневой сердечник. Она шла, чтобы крушить неприступные стены, пронзать стальные преграды. В ней была реликтовая, накопленная веками энергия, сокрушающая народы и царства.

Впереди колонны шла когорта атлетов в темно-блестящих рубашках. Они маршировали, чеканили шаг. Вскидывали руки, восклицая: «Слава Украине!» Другие, с тем же взмахом руки, откликались: «Героям слава!» Над колонной колыбался огромный желто-голубой флаг с витиеватым украинским трезубцем и качался портрет Бандеры – короткая стрижка, упрямые жесткие губы, хмурые, исподлобья глаза.

Следом за атлетами шагали девушки в белых рубашках с алой огненной вышивкой. Одни были в венках из васильков и ромашек. Другие несли свежие ветки берез.

Кольчугин чувствовал аромат березовых листьев, свежесть и силу девичьих тел. И его пугала эта сила и молодость, направленная против него, отвергавшая его слабость и дряхлость.

Стальной наконечник протыкал Москву. Как игла, тянул за собой разношерстное шествие.

То и дело взлетали руки, и множество голосов азартно и весело скандировали: «Бандера придет, порядок наведет! Бандера придет, порядок наведет!»

Эти дразнящие возгласы, безнаказанно звучащие в центре Москвы, пугали Кольчугина. Говорили о бессилии власти. Сулили расправу. Готовили страшный реванш. Из безымянных могил, из разрушенных схронов вставали бандеровцы. Шли в свой мстительный победный поход.

Тонконогие девушки с хохотом, взявшись за руки, подпрыгивали, озорно выкрикивая: «Кто не скачет, тот москаль! Кто не скачет, тот москаль!» Вся колонна, молодые и пожилые, начинали подпрыгивать, словно скакало по Москве яростное стадо кенгуру. И Кольчугину казалось, что его затопчут.

Он узнавал в толпе тех, кто два года назад наполнял Болотную площадь кипящей лавой. На время они исчезли, укрылись в своих конторах и офисах, стали невидимы. И вновь появились в пугающем множестве, с неизрасходованной страстью и яростью.

«Майдан, Майдан! Бандера, Бандера!» – катилось вдоль колонны. Казалось, у огромной змеи начинает блестеть чешуя, и Кольчугин чувствовал едкий запах струящегося мускулистого туловища.

Он различал в колонне давних врагов, с кем сражался на страницах газет, у микрофонов на митингах, в телеэфире. Здесь были гневные и насмешливые полемисты, ненавидящие государство политики, язвительные русофобы. Здесь был художник, несущий рисунок отвратительного карлика с надписью: «Наш Президент». Здесь был Шутник с седеющей копной волос, из-под которой мерцали желтые совиные глаза. Мизантроп с вислым носом и голубоватым, как кладбищенская луна, лицом. Русак с курчавыми пейсами и мокрыми, неумоимо говорящими губами. Здесь был известный поэт, который катился, как шар, не имеющий руки и ноги, а только прозрачные складки жира. Валькирия со смертельно бледным лицом и рыжими волосами, как хвост кометы.

Колонна струилась, взбухла, сжималась, растягивалась, как возбужденная кишка. Проталкивала сквозь себя липкие комья ненависти.

Кольчугин чувствовал ее страшную силу, ее неотвратимый удар, направленный на розовые стены Кремля, на фрески Грановитой палаты, на хрустальные солнца Георгиевского зала, на обессилевшего, брошенного всеми Президента. На беззащитную страну, которая опять становилась добычей врагов. И никто – ни оробевшие, стыдливо понурые полицейские, ни чиновники, разбежавшиеся врассыпную, ни грозные силовики, побросавшие свои ордена и мундиры, – никто не остановит страшный таран. Не встанет на пути у стенобитной машины. Не закроет грудь золотые надписи с именами гвардейских полков. Только он, Кольчугин.

Красная муть хлынула ему в глаза. Он вытянул руки и кинулся в колонну, желая схватить змею, сжать в кулаках ее скользкое тело:

– Назад! Не смей! Не пуцуй!

Он кого-то схватил за рубаху, кого-то толкнул. На него удивленно смотрели. Его узнавали:

– Кремлевский холуй! Денщик Президента! Старый маразматик! – Ему кричали, смеялись, отталкивали. Какой-то молодой человек больно его пихнул. Какая-то девушка нацепила ему на голову веночек ромашек. Какой-то демонстрант в расшитой рубахе плеснул в него зеленой. Жидкость обожгла щеку, полилась на рубаху, испачкала ядовитым изумрудом.

Кольчугин охнул, отшатнулся. Колонна, шелестя и звеня, проструилась мимо. Стекала вниз, по бульвару к Трубной, исчезая в железной дымке.

Кольчугин стоял, несчастный, с венком ромашек на голове, в ядовитых зеленых пятнах. Чувствовал, что упадет.

– Здравствуйте, Дмитрий Федорович. Вы прямо как Лель какой-то. – Перед ним стоял сутулый, почти горбатый человек в неряшливо застегнутой ситцевой блузе и таких же мятых, серовато-белых штанах. Его лицо было морщинистым и обрюзгшим, в стариковских наростах. Нос крючком нависал над губами, словно стремился соединиться с заостренным, как полумесяц, подбородком. Седые клочковатые волосы остались только у висков, голый череп был в пятнах пигмента. – Ну, просто сказочный Лель!

Кольчугин узнал в человеке литературного критика Вигельновского, с которым страстно сражался долгие годы, когда Вигельновский, либеральный литературовед, в своих статьях

истреблял все, что принадлежало к советским литературным течениям. Он был зол, умен, беспощаден. Двигался с огнем по литературному полю, сжигал репутации, направления, школы, оставляя после себя выжженную землю. Не одну статью он посвятил Кольчугину, его военным романам, стараясь истребить их дух и эстетику. Называл их «каннибальскими», «хлюпающими кровью». Они сражались, обменивались разящими ударами, но постепенно состарились, ослабели в своей неприязни, покинули поле боя, почти забыли один о другом. Теперь же Вигельновский, не поспев за колонной, отстал. Они встретились и стояли среди пустого бульвара, как две нахохленные старые птицы.

– Что, Дмитрий Федорович, страшно? Вижу, как дрожите. Вместе с вами в Кремле дрожит ваш Президент, вся его трусливая челядь. Раздразнили Америку? Раздразнили Европу? Это вам не Болотная! Это вам не безоружных юнцов дубинами по головам! Америка долго терпела, а теперь вас раздавит, как вшу! Шпана, уголовная шпана! Вас повезут в Гаагу в клетке вместе с вашим Президентом, и люди будут плевать в вас! Смотрите, какой вы жалкий, дрожащий!

Вигельновский все еще трудно дышал, хватался за грудь. Но вспыхнувшая в нем ненависть сообщала ему энергию. Он одолевал немощь, морщины его шевелились, и их становилось меньше.

Кольчугин, в растерзанной одежде, перепачканный зеленкой, забыв снять с головы венок, не понимал, что ему говорят. Только видел ядовитое, с желтыми зубами лицо старика, его торжествующую улыбку и хищный нос, готовый сомкнуться с подбородком.

– И где же ваш русский Президент? Где защитник русских? «Своих не сдаем! Какое счастье быть русским!» Сдал, да еще как! Показывает вам, русофилам, как ставят ваших русских на колени в вонючих мешках, и они просят пощады. А ведь он, Президент, так же будет стоять на коленях с мешком на голове. Станет просить пощады у всего человечества, которое с презрением отвергнет его мольбу! Вам показали, что вы – негодный народ. Не народ, а остаток народа! Евреи за одного пленного капрала стерли с земли сектор Газа. А вам показывают оторванные ручки русских девочек, а вы только тупо сопите!

Вигельновский хохотал. Притоптывал. Его пепельное лицо начинало розоветь. Пространство между носом и подбородком увеличилось, и в этом пространстве яростно шевелились смеющиеся губы. Так иссыхающий в горшке цветок начинает оживать, наполняется соками, когда его полиют водой. Вигельновский оживал, обрызганный ненавистью, которая возвращала молодость его дряхлому телу.

Кольчугин чувствовал огненные языки ненависти, обжигавшие его. В нем поднималась старинная тоска, слепая ярость, незабытые оскорбления. Перед ним был враг, торжествующий, глумливый и безнаказанный.

– Нет, теперь мы не повторим ошибок девяносто первого и девяносто третьего года! «Добить гадину»! Я говорил, я требовал. Меня не послушали. Отпустили на свободу подонков ГКЧП! Отпустили на свободу бандитов – баррикадников из Белого дома! Вас всех тогда надо было ставить к стенке, и Россия жила бы счастливо. Не было бы этих фашистских имперских теорий, этих бредов о русском мессианстве! Не было бы этого бандитского налета на Крым! Этого разбоя в Донбассе! Но ничего, теперь мы умнее! Всех в фильтрационные пункты, чтобы покончить с заразой! Всех террористов в казачьих папахах, всех идеологов, подстрекателей – к стенке! И Россия вздохнет свободно!

Вигельновский распрямил сутулые плечи. Глаза выплескивали черное пламя. Нос, беспощадный и гордый, напоминал хищный клюв. Кольчугин почувствовал, как в груди открылась жаркая душная яма, и слепая угарная ярость затмила глаза, словно в них лопнули красные кровяные сосуды.

– Негодяй! Подлец! – крикнул он и хотел ударить Вигельновского в лицо, но промахнулся. Не устоял на ногах и упал на вытянутые руки соперника. Тот вцепился в Кольчугина.

Они схватились, стали дергать друг друга за одежды, хрипя, задыхаясь. Разом обессилели, расцепились. Стояли на бульваре в изнеможении, два нелепых старика, и двое проходивших мимо парней весело засмеялись:

– Во, деды дают! Надо фотку сбросить в Фейсбук!

Кольчугин повернулся, переступил лежащий на земле венок из ромашек и, шатаясь, побрел туда, где ждала его машина.

Дома он брезгливо совлакал с себя измызганную, растрепанную одежду. Отмывал отвратительную зеленку, которая въелась в поры.

Он снова потерпел поражение. Был как шут, как смехотворный старик. Был все еще подвержен вспышкам страсти и ненависти, которые оборачивались для него позором и унижением. Он не умел использовать последние отпущенные ему дни, чтобы подготовиться к уходу. Привести свой мятежный дух к гармонии. Провести остаток дней в размышлении о смысле дарованной ему жизни. Обрести тот молитвенный и возвышенный покой, в котором он встретит кончину.

Он должен отрешиться от клокочущей, стреляющей реальности. Отвернуться от горящих городов, от царящей вокруг беспощадной борьбы. От митингов, шествий, ядовитого Интернета. Все это удел других, молодых, с неизрасходованными страстями, с несгибаемой волей, с острым ощущением грозных дней, в которых им предстоит совершать свои подвиги, прокричать призывы и лозунги, быть услышанными и, быть может, убитыми. Взять на себя ношу истории, ее страшный вес. Выпустить из-под тяжкого свода утомленных бойцов, которые тихо уйдут в забвение.

Кольчугин бродил по дому. Уселся в кресло, вспомнив, как однажды, холодной осенью, жена подошла и накрыла ему ноги теплым пледом. Прилег на диван и вспомнил, как дремал на этом диване и сквозь дрему слышал звяканье посуды на кухне, запах малинового варенья. Жена поставила на плиту алюминиевый таз, в котором кипела алая сладкая гуща.

Он вдруг подумал, что почти не помнил своих детей. Не помнил, как они взрастали. Не помнил драгоценных переливов, когда каждый день дарит что-то новое, восхитительное, и память удерживает первый детский лепет, первые шаги, первое произнесенное слово. Жена, уже во время болезни, умиленно вспоминала множество случаев, смешных и милых, связанных с детством сына и дочери. Казалось, она держит перед глазами невидимую раковину в переливах перламутра и любит ее. Хотела вовлечь в эти воспоминания Кольчугина, но он ничего не помнил. Дети росли без него. А он, одержимый странствиями, погоней за впечатлениями, уносился из дома, упиваясь видом свежего газетного листа, где был напечатан его очерк о военных учениях, о стратегических бомбардировщиках, летящих к полюсу, об атомных подводных лодках, уходящих в автономное плавание. И этот свежий, пахнущий типографской краской газетный лист заслонял от него играющих на ковре детей, жену, прекрасную в своем материнстве, ее бессонные ночи, когда дети болели, ее бесконечные труды, когда она стирала, мыла, лечила, утешала, ставила детские спектакли, устраивала новогодние елки.

Но нет, он помнил несколько случаев, связанных с маленькими детьми.

Рождение дочери в теплый апрельский день, когда деревья были в зеленом тумане и он ждал жену у родильного дома с букетом цветов в счастливом недоумении. Он отец и сейчас увидит своего первенца, и что это изменит в его судьбе? Сиделка с румяным лицом, похожая на кустодиевскую купчиху, вынесла белый кокон, перевязанный розовыми лентами. И следом – жена, бледная, с огромными сияющими глазами, в которых было обожание, умиление и мольба. Словно молила этот огромный город, этот грозный рокошущий мир принять ее чадо, сберечь, полюбить, не причинить страданий. Он вложил в пухлую руку сиделки конверт с дарением и принял легкий сверток, в котором, среди белоснежных материй, в глубине что-то таинственно светилось, дышало, живое, почти невесомое, – его дочь. Он старался понять свое чувство к

ней, пережить свое отцовство. Но испытывал лишь веселое недоумение, неловкость движений, боясь уронить или неосторожно сжать легкий кокон.

Дома их ждала родня – бабушка, мама, теща. Был накрыт стол, сияли умытые окна. Он положил драгоценный сверток на кровать, и жена любовно и бережно развязала ленты, раскрыла сверток. И обнаружилось маленькое розоватое тельце с приподнятыми ножками, хрупкими, как стебельки, ручками. Кольчугина поразили крохотные нежно-розовые ноготки на шевелящихся пальчиках рук. Жена показывала сотворенное ею чудо, и на ее прекрасном лице были гордость и восхищение. Она призывала всех восхищаться.

Бабушка подошла, прилегла на кровать. Приблизила к младенцу свое сморщенное, коричневое лицо. Стала молча, долго смотреть на свою правнучку. На ее перламутровое тельце, которое слабо вздрагивало от таинственных биений. Бабушкины карие глаза, почти невидящие, замерли, не моргали. Казалось, между ней и ребенком установилась незримая связь, прозрачный световод, по которому бабушка переливала в правнучку все родовые преданья, все родовое наследие. Готовясь покинуть мир, она вдыхала в правнучку свою исчезающую жизнь, продлевая существование рода, направляя его в бесконечность. Кольчугин благоговейно созерцал это таинство. Чувствовал линию жизни, на которой они все поместились.

Это воспоминание умиротворило его. Свой день он завершил тихо, успокоившись от дневного потрясения. Не включал телевизор. Черный прямоугольник таил в своей глубине зрелища убиваемых городов. И он не позволял этим зрелищам всплыть на поверхность.

Он достал из шкафа клетчатый плед. Сел в кресло и укрыл себе ноги, как это сделала когда-то жена.

«Спасибо, милая», – произнес он неслышно. Сидел в долгих сумерках, глядя на гаснущий за окном сад.

## Глава 6

Утром ему позвонила активистка Лапунова, та, что участвовала в ток-шоу «Аналитика». Ее энергичный, требовательный голос с первых же слов вызвал у Кольчугина едкую неприязнь. Воскресил недавнее унижение, отвращение к лживому телеканалу, который устроил ему ловушку, вырезал его страстное обращение к Президенту.

– Дмитрий Федорович, напоминаю, что сегодня состоится митинг в поддержку Новороссии. В «Останкино» вы дали согласие. Очень вас жду.

– Простите, никакого согласия я не давал. Не мне в моем возрасте бегать по митингам. Для этого есть молодые.

– Но, Дмитрий Федорович, ведь вы обещали. Свидетелем тому – вся страна. И потом, вы – авторитет, не сравнимый с нами, молодыми. Вы – золотые уста России!

Кольчугин представил ее моложавое лицо с молодежной челкой, прикрывавшей морщинки на лбу. Ее напор был характерен для женщин, посвятивших себя общественной деятельности. Он всю жизнь сторонился этих шумных и неутомимых активисток, бесцеремонных и фанатичных.

– Еще раз прошу меня извинить. Я неважно себя чувствую. Все, что я мог сказать в поддержку Новороссии, я сказал в моих статьях и выступлениях. Я не оратор, а писатель.

– Дмитрий Федорович, на митинге будут представители всех патриотических организаций. Резолюцию митинга прочитают в городах Донбасса, прочитают в Кремле, прочтает Президент. Вы же хотите, чтобы русская армия прекратила геноцид в Донбассе? Мы не обойдемся без вашего слова. «С кем вы, мастера культуры?»

Это назойливое вторжение в его тихий утренний дом Кольчугин воспринял как бестактное насилие. Хотел сказать резкость, но сдержался.

– Еще раз прошу меня извинить, но я не сумею прийти, – и отложил телефон.

Он полил цветы на окнах, те, что раньше поливала жена. Хотел вернуть себе вчерашние чувства, когда память, блуждая в прошлом, отыскивала среди ошеломляющих зрелищ, военных походов и государственных переворотов, – отыскивала драгоценные воспоминания о детях, о кратких мгновениях, когда все они собирались вместе.

С маленьким сыном они идут через поле картошки. Сын едва возвышается над ботвой, цепляется за стебли, семенит в борозде, боясь отстать. А в нем такая острая нежность, любовь к его круглой голове, маленькому торопливому телу. Сын страстно стремится не отстать, не потеряться в огромном поле, в огромном мире, где ему опорой служит отец, его сила, доброта и любовь.

В осенней деревенской избе они всей семьей собрались у горящей печки. Красные язычки на стене. Жена прижала к себе детей, а он кочережкой шевелит дрова, окружая их красными искрами. Захлопнув дверцу, продолжает рассказывать бесконечную сказку, которую тут же выдумывает. Про волшебных муравьев-канатоходцев. Про злобных карликов и добрых лилипутов. Про Птицу Ночь, которая летает над заснувшей деревней. И в детях такое страстное внимание, нетерпение, и жена сама, как дите, внимает его фантазиям.

Они вышли на берег ледяного ночного озера, над которым стояла огромная голубая луна. Он подобрал прозрачные ледышки, раздал детям, жене, и они сквозь ледяные линзы смотрят на луну. Лица дочери, сына, жены в голубых таинственных отсветах. Он зачарован огромным волшебным миром, в который они явились и теперь неразлучны навеки.

– А на луне люди водятся? – спросила дочь.

– Мы с вами лунные люди, – сказала жена.

– Лунные люди, – замороженно повторил сын.

Жена кинула на озерный лед ледяное стеклышко, и оно зазвенело, покатилося, мерцая, исчезая в сумерках.

Кольчугин вслушивался, ловил тот далекий звон.

Опять раздался звонок. Он услышал требовательный, возбужденный голос Лапуновой:

– Дмитрий Федорович, включите телевизор! Посмотрите, посмотрите, с кем «мастера культуры»! А вы не хотите идти на митинг!

Раздраженный, повинувшись бесцеремонному требованию, Кольчугин включил телевизор.

Известный рок-музыкант Халевич пел свою бравурную песню о лазурной птице, приносящей победу и счастье. Он пел ее, находясь в расположении украинских войск в районе покоренного Славянска. В парке с поломанными деревьями, среди разрушенных стен сидели на земле солдаты. Гремел и танцевал на месте ударник. Саксофонист раскачивал из стороны в сторону саксофон. Патлатый пианист вонзал длинные пальцы в синтезатор. Халевич, со своим характерным лицом смеющейся белки, двигал плечами и бедрами, исполняя гремучую песню. Солдаты хлопали, свистели, раскачивались. На коленях лежали автоматы. Лица были исхудалые, загорелые, опаленные боями.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.